

Эрнст Юнгер

БОРЬБА КАК ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ



В своих военных дневниках «В стальных грозах» (1920) и «Борьба как внутреннее переживание» (1926) Юнгер объяснял войну как мифическое явление природы, в котором, как он видел, возникает «современный человек новой, твердой как сталь породы».

СОДЕРЖАНИЕ

- Предисловие
1. Вступление
 2. Кровь
 3. Ужас
 4. Траншея
 5. Эрос
 6. Пацифизм
 7. Мужество
 8. Ландскнехты
 9. Контраст
 10. Огонь
 11. Между собой
 12. Страх
 13. О враге
 14. Перед боем
-

Предисловие

Война – отец всех вещей.

Гераклит

Эрнст Юнгер, прославившийся в разных областях писатель и поэт, собиратель жуков и жизнелюб, националистический мыслитель и, прежде всего, – солдат, воин, последний кавалер ордена *Pour le merite*, «человек века»¹, остроумный наблюдатель и летописец своего времени.

¹ См. биографию Юнгера: *Heimo Schwilk, Ernst Jünger – Ein Jahrhundertleben*, (Эрнст Юнгер – человек, проживший век) München 2007.

В 1918 году Юнгер, 23-летний лейтенант, награжденный многими наградами, вернулся с полей сражений Первой мировой войны и был принят в ряды Рейхсвера молодой Веймарской республики. Тогда же он начинает литературно обрабатывать пережитые им события и записанные им в дневниках воспоминания о четырех годах войны на Западном фронте.

Через два года после конца войны возникает *«В стальных грозах»*, его первое произведение, и до сегодняшнего дня самая известная и самая успешная книга Юнгера. Она была реакцией на войну, которая по своему масштабу и по своим ужасам, вызванных ее механизацией, отодвинула в тень все предшествующие ей войны. Мечты образованной буржуазной молодежи довоенной Европы о почетной и героической борьбе «один на один» после первоначальной эйфории быстро утонули в грязи стрелковых траншей, задохнулись в мощи ураганного огня, высекавшего новый облик у всех пейзажей, и заглохли под давлением «материальной» войны, войны техники, войны на истощение, в которой солдат сотнями тысяч бросали в «мясорубку» фронта ради продвижения вперед на многие метры.

Ужас миллионов людей, бессмысленно страдавших на немецкой стороне, нашел в *Эрнсте Юнгере* человека, который хотел *описать не только то, как это могло бы быть, а то, как это было на самом деле*², и при этом *предпринял писательскую попытку придать метафизическую интерпретацию собственному военному опыту*³.

Другой подоплекой было то, что Юнгер принадлежал не к массе обычных «окопников», боевой дух которых к концу войны был давно измотан, а к так называемым «штурмовым отрядам», которых с большим опозданием создали в два последних военных года, чтобы удовлетворить новые требования войны. Имеются в виду сформированные из добровольцев специальные подразделения, действия которых отличались необычайно безрассудной смелостью. *Прирожденный лидерский инстинкт и духовная движущая сила в соревновании человека с (военной) машиной* должны были способствовать победе первого⁴. *Возник новый человек, новая воля к жизни. Сильная твердость борца, выражение ин-*

² Предисловие к *«В стальных грозах»*.

³ *Werner Bräuninger, Wille und Vision*, стр. 59, Berg 1997.

⁴ *Ernst Jünger, Über Angriffsgeschwindigkeit*, в: *Militär-Wochenblatt*, 15.5.1923.

*дивидуальной ответственности, психического одиночества характеризовала его. В этой борьбе... его ранг выдержал испытание.*⁵

Потому неудивительно, что ввиду немецкого поражения, вызванного, прежде всего, материальным превосходством противника, против которого напрасны были вся смелость и все терпение немцев, а также красной революцией в ноябре 1918 года, вызвавшей гибель старого порядка, у воина такой природы обязательно должен был возникнуть вопрос о чем-то новом, рожденном из крови и железа. Во всяком случае, только что основанная Веймарская республика для Эрнста Юнгера (и большинства его современников) этим новым не была.

При этом Эрнст Юнгер отнюдь не был единственным бывшим фронтовиком, который занялся этой задачей, однако, с литературной точки зрения он был из них всех самым значительным⁶. Он был первым, кто нашел для изображения внутренних и внешних переживаний фронтовиков... классическую языковую форму⁷.

Но чтобы и по объему соответствовать этой оценке современников, требовалось написать своего рода продолжение «В стальных грозах», которое было бы дополнением этой книги, носившей скорее описательный характер, и было бы посвящено внутренне пережитым, душевным процессам в солдате.

Осенью 1920 года возникает «Борьба как внутреннее переживание», что не в последнюю очередь было также ответом на разрастающийся пацифизм левых в Веймарской республике, для которых фронтовые заслуги ничего не значили, больше того, они даже вообще презирали все военное⁸.

⁵ Der Kampf als inneres Erlebnis, стр. 17.

⁶ В качестве представителей целого ряда военных писателей можно назвать таких авторов как Вальтер Флекс (*Walter Flex, Der Wanderer zwischen beiden Welten*), Ганс Цёберляйн (*Hans Zöberlein, Der Glaube an Deutschland*), и Вернер Боймельбург (*Werner Beumelburg, Sperrfeuer um Deutschland*).

⁷ Dr. Richard Winter, Der Krieg als inneres Erlebnis, стр. 2.

⁸ Характерным примером такой духовной позиции левых было стихотворение Курта Тухольского со следующими словами:

*«Мы знаем фирму, мы знаем дух,
Мы знаем, что значит приказ по корпусу.
Прочь это всё, рвите свои погоны
На куски – культура от этого не пострадает,
Если однажды в стране исчезнет тот,*

Такому подходу Юнгер противопоставляет, в полном согласии с *Освальдом Шпенглером*⁹ и другими видными правыми мыслителями того времени¹⁰, свою центральную идею, оценивая войну не как аварию истории, а наоборот одобряя и приветствуя ее как самое внутреннее проявление цивилизации, даже всего человеческого существа.

Лишения, горе и постоянная конфронтация со смертью являются для солдата только внешними переживаниями войны, в духовном же смысле это понимание того, что это необходимая часть истории, *инструмент более высокого разума*¹¹, так как бытие – это смысл мира, а борьба это его наилучшая форма¹².

Кроме того, сакрализация немецкого поражения ставит памятник погибшим однополчанам, в котором им отказывают государство и общество, и придает смерти миллионов немецких солдат сверхисторический смысл.

Произведение Юнгера совершенно не утратило своей злободневности, хотя его высказывания могут показаться невыносимыми для современного гедонистического, зациклившегося на согласии и личном благополучии общества большинства. Вопреки близорукому взгляду почти всех ведущих западных современников, которые благодаря принудительно навязанным всему миру идеям «демократии» и «прав человека» болтают о «конце истории», фундаментальные законы мира не изменились. История *осуждает на смерть те народы, для которых правда была важнее поступков и справедливость весила больше, чем власть*¹³.

«Рах Americana», «мир по-американски», насколько он действительно заслуживает этого названия, склоняется к своему концу. В условиях новой экспансии

*С давлением которого не сможет справиться ни один свободный человек.
Есть две Германии – одна из них свободна,
Другая раболепна, кто бы это ни был.
Заставь же, наконец, замолчать, о, республика,
Военную музыку! Военную музыку!»*

⁹ Сравните с этим *Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, München 1920, стр. 629.*

¹⁰ Также Морис Баррес в „Le cultu de moi“ и Томас Манн в „Gedanken im Kriege“, стр. 14: «Война! Это было очищение, освобождение, которое мы ощущали, и огромная надежда».

¹¹ Der Kampf als inneres Erlebnis, предисловие ко 2-му изданию.

¹² Там же, стр. 97

¹³ Освальд Шпенглер, указ. соч.

всегда думающего об агрессии ислама и демографического взрыва в Третьем мире, при одновременно прогрессирующем истощении наших естественных жизненных основ, линии будущих конфликтов проступают со все большей ясностью. *Закат Запада* покидает сферу литературы и, похоже, готовится стать горькой реальностью, по меньшей мере, он заметно принимает все более конкретные черты.

Белые народы отличаются не только прогрессирующей биологической импотенцией, а, хуже того, еще и импотенцией духовной. Не масштаб появляющихся угроз или сила их врагов, а собственная душевная слабость белых народов – вот корень проблемы. Пацифизм, феминизм, ошибочно понимаемый гуманизм, гендерный мейнстрим и другие идеологические химеры основательно разрушили Европу и то, что когда-то ее составляло.

Выход из кризиса ведет через духовную борьбу против основанных на идеях французской революции лжеучений либерализма со всеми его формами проявления и возвращение права на собственную абсолютность.

Европа ни в чем не нуждается так сильно, как в новом поколении воинов. Ранний *Эрнст Юнгер*, без сомнения, может ей в этом помочь.

В. Вольф, сентябрь 2008 года

Специально для Немецкой рубрики Велесовой Слободы

1. Вступление

Иногда на горизонте духа вспыхивает новое небесное светило, которое поражает глаза всех неутомимых, как провозглашение и сигнал о буре мирового поворота, как когда-то представилась звезда библейским волхвам на Ближнем Востоке. Тогда окружающие новое светило звезды тонут в его пламенном жаре, идола разбиваются на глиняные обломки, и создававшая всё прежняя форма снова плавится в тысячах доменных печей для того, чтобы из ее материала были отлиты новые ценности.

Волны такого времени окружают нас огнем со всех сторон. Мозг, общество, государство, Бог, искусство, эрос, мораль: разрушение, брожение – возрождение? Еще неутомимо проносятся мимо образы, еще кружатся атомы в кипящих котлах мегаполиса. И, все же, также и эта буря стихнет, разнесется по воздуху, и этот пылающий поток охладится, превратившись в порядок. Любое бушующее

неистовство когда-то разобьется о серую каменную стену, или же найдется кто-то, кто своим стальным кулаком впряжет его в свою колесницу.

Почему как раз наше время столь богато силами, уничтожающими и создающими? Почему именно оно несет в своем лоне такое ужасающее предсказание? Потому что хотя многому и доведется, возможно, умереть от жара, но то же самое пламя в то же время варит в тысячах реторт будущее и чудесное. Хождение по улице, взгляд в газету показывает это, назло всем пророкам.

Это война сделала людей и их время такими, какими они есть. Еще ни одно поколение до нас никогда не вступало на арену Земли, чтобы в борьбе между собой добиться для себя власти над эпохой. Потому что ни одно поколение еще никогда не возвращалось из ворот таким мрачным и сильным как из ворот этой войны в светлую жизнь. И мы не можем отрицать это, как бы кое-кому, вероятно, этого ни хотелось: война – отец всех вещей, также и наш отец; она выковала нас, вычеканила и закалила, сделав из нас то, что мы есть. И всегда, до тех пор, пока катящееся колесо жизни еще вращается в нас, эта война будет осью, вокруг которой это колесо вертится. Она воспитала нас для борьбы, и мы останемся бойцами, до тех пор, пока мы есть. Возможно, война умерла, ее поля сражения покинуты и опорочены как камеры пыток и виселицы, однако дух ее вошел в своих батраков, и никогда не отпустит их со своей службы. И если она есть в нас, то она есть всюду, так как мы формируем мир, не иначе, созерцательные в самом творческом смысле. Разве вы не слышите, как она грохочет из тысяч городов, как громоздятся вокруг нас грозы, так же, как тогда, как кольцо битв окружало нас? Разве вы не видите, как пылает ее огонь из глаз каждого человека? Иногда, пожалуй, она спит, но если земля дрожит, она с кипением вырывается из всех вулканов.

Между тем: война не только наш отец, но также и наш сын. Мы породили ее, а она нас. Мы – выкованные и вычеканенные, но мы также и те, кто поднимает молот, ведет резец, кузнецы и брызжащая сталь одновременно, мученики своих поступков, ведомые своими инстинктами.

В лоне помешавшейся культуры мы жили вместе, теснее, чем люди раньше, раздробленные по нашим делам и желаниям, мчащиеся по сверкающим площадям и подземным шахтам, окруженные блеском зеркал в кафе, улицами, полосами цветного света, барами, полными ярких ликеров, столами для заседаний и последний крик, каждый час – новая новость, каждый день – решенная проблема, каждую неделю – сенсация, с огромным, перекрывающим все своим грохотом неудовлетворением в основе. Технически еще продуктивные, мы с улыбкой бен-Акибы стояли в конце искусства, раскрыли загадки мира, или полагали, что

скоро сможем их раскрыть. Пункт кристаллизации казался достигнутым, до сверхчеловека было рукой подать.

Так мы жили беспечно и гордились этим. Как сыновья опьяненного материей времени прогресс представлялся нам совершенством, машина – ключом богоподобия, телескоп и микроскоп – органами познания. Все же, под всегда блестящей и отполированной кожурой, под всеми покровами, которые висели на нас, как на фокусниках, мы оставались голыми и грубыми как люди леса и степи.

Это стало видно, когда война разорвала общность Европы, когда мы за знаменами и символами, над которыми некоторые из нас давно недоверчиво посмеивались, встали друг против друга для древнего решения. Там в опьяняющей оргии подлинный человек возместил себе все упущенное. Там его инстинкты, слишком долго уже сдерживавшиеся обществом и его законами, снова стали единственным и святым и последним разумом. И все, чему мозг в течение веков придавал все более острые формы, послужило только для того, чтобы увеличить силу кулака до безграничного.

Теперь все это лежит у нас за спиной, черное и зловещее, как лес, пройденный в ночи. Кто не мог бы понять, что дыхание там становится чаще? Мы бросились в этот опыт как ныряльщики и вернулись из него, изменившись.

Что происходило там на дне? Носители войны и ее творения, люди, жизнь которых должна была привести к войне, и которая, благодаря войне, была закинута на новые пути, к новым целям – чем были мы для нее, и чем была она для нас? Вот вопрос, ответ на который сегодня кое-кто стремится найти. Эти страницы тоже посвящены этому.

2. Кровь

Человеческий род – это таинственный, всепоглощающий девственный лес, кроны которого, овеянные дымкой свободных морей, все сильнее тянутся из пара, зноя и тупости к ясному солнцу. Если вершины леса укутаны ароматом, красками и цветами, то хаос странных растений разрастается в его глубинах. Когда солнце догорает, в бокалы упругих пальм падает цепь красных попугаев подобно эскадре королевских снов, так из уже погружившейся в ночь низменности проникает гадкий хаос прокрадывающихся, ползучих животных, визгливый крик жертв, которым из сна, пещеры, теплого гнезда приносит смерть коварное нападение жадных, привычных к убийству зубов и когтей.

Так же как девственный лес, все более возвышаясь и все сильнее стремится вверх, высасывая силы для своего роста из собственной гибели, из своих тлеющих и распадающихся во влажной земле частей, так и каждое новое поколение человечества возникает на фундаменте, где слоями уложена гибель бесчисленных поколений, которые отдыхают здесь от хоровода жизни. Пожалуй, тела этих бывших, которые раньше закончили свой танец, уничтожены, развеяны в улетучивающемся песке или истлели на дне морей. Однако их части, их атомы снова и снова подхватываются жизнью, победоносной, вечно молодой, в неутомимом изменении и таким образом поднимаются ею к вечным носителям живой силы.

Так содержание бытия, каждая мысль, каждое действие и каждое чувство, брошенное этим бесконечным рядом предшественников на поля жизни, сохраняет также вечную ценность. Как человек строит себя на животном и его условиях, так он коренится также на всем, что сотворили его отцы в ходе веков благодаря кулаку, мозгу и сердцу. Его поколения подобны слоям кораллового рифа; ни один камушек не возможен без бесчисленных уже давно угасших, на которых он основывается. Человек это носитель, постоянно переменный сосуд всего того, о чем думали, что делали и что чувствовали до него. Он – также наследник всех желаний, которые заставляли других до него с непреодолимой силой двигаться к дальним, закутанным в тумане целям.

Люди все еще трудятся на строительстве башни беспредельной высоты, в которую они укладывают слоем за слоем поколение, одно состояние своего «Я» с кровью, мучением и страстью на другое.

Пожалуй, башня поднимается на все большую высоту, ее зубцы все больше поднимают человека к победителю, открывают его взгляду все большие, все более богатые земли, однако сооружение продвигается не в спокойной соразмерности. Часто творение оказывается под угрозой, стены падают, или их сносят глупые, лишённые мужества, разочаровывающиеся. Обратные удары тех обстоятельств, которые считались давно преодоленными, прорывы стихийных сил, кипевших под застывшей коркой, обнаруживают живую власть древних сил.

Из бесчисленных строительных камней построен также и каждый отдельный человек. Бесконечная цепь предков волочится за ним по земле; он скован и связан тысячами уз и невидимых нитей со сплетением корней болота девственного леса, бродящее тепло которого породило его празародыша. Пусть дикое, жестокое, яркий цвет инстинктов успокоились, сгладились и приглушились за тысячелетия, в которых общество взнуздало внезапные желания и инстинкты.

Пусть возрастающая утонченность просветила и облагородила его, все же, зверь все еще спит на дне его бытия. В нем все еще есть очень много от зверя, дремлющего на удобных, тканых коврах отполированной, отшлифованной, бесшумно переплетающейся цивилизации, окутанного в привычки и услужливые формы, но если кривая волн жизни отбросит его назад к красной линии примитивного, маскировка спадет; нагой, как когда-то, вырвется он первобытный человек, поселенец пещер, во всей неудержимости его освобожденных инстинктов. Доля наследия его отцов воспламенится в нем, снова и снова, если жизнь настроится на свои извечные функции. Кровь, которая в машинальном движении протекала по артериям его каменных каркасов, городов, прохладно и регулярно, вспенивается, и первичная порода, долгие времена холодно и неподвижно покоившаяся в скрытых глубинах, снова расплавляется до белого каления. Она шипит навстречу ему, пламя, нападение, уничтожающий удар, всегда, когда он спускается в путаницу шахт. Разорванный голодом, в задыхающемся переплетении поколений, во встрече с жизнью и смертью он – всегда тот же прежний.

В борьбе, на войне, которая разрывает все договоренности человека как сшитые лохмотья нищего, зверь как таинственное чудовище поднимается с глубины души. Там он вырывается вверх как все пожирающее пламя, как непреодолимое упоение, которое опьяняет массы, божество, восседающее над войсками. Там, где все мысли и все поступки возвращаются к одной формуле, чувства тоже должны переплавиться обратно к исходному материалу и приспособиться к страшной простоте цели, к уничтожению противника. Это останется. До тех пор, пока люди ведут войны и войны ведутся, до тех пор, пока еще существуют люди.

Внешняя форма не играет тут никакой роли. Растопырявают ли в момент встречи когти и обнажают зубы, размахивают ли грубыми топорами, натягивают ли деревянные луки, или же очень совершенная техника доводит уничтожение до наивысшего искусства, всегда наступает момент, где из белка в глазу врага вспыхивает опьянение красной кровью. Всегда задыхающееся нападение, последний, разочарованный ход вызывает одну и ту же сумму чувств, все равно: размахивает ли теперь кулак вырезанной из дерева дубиной или нафаршированной взрывчаткой ручной гранатой. И всегда на равнинах, где человечество предоставляет свое дело кровавому решению, будь то узкий перевал между двумя маленькими горными народами, будь то широкая дуга современных сражений, все ужасное, все накопление самых утонченных ужасов не сможет пропитать человека ужасом так, как длящееся какие-то доли секунды появление его копии, которая появляется перед ним, со всем огнем доисторического времени на искаженном лице. Ибо любая техника – это машина, случай, снаряд

слеп и безволен, но человека сквозь грозу из взрывчатки, железа и стали ведет воля убивать, и если два человека сталкиваются в упоении боя, то тут встречаются два существа, из которых устоять может только один. Потому что эти два существа по отношению друг к другу вступили в древнейшие отношения, в борьбу за существование в ее самой обнаженной форме. В этой борьбе более слабому придется остаться лежать на земле, тогда как победитель, крепче сжимая оружие в руке, перешагнув через убитого, пойдет дальше, глубже в жизнь, глубже в борьбу. Таков крик, который в момент такого столкновения смешивается с криком врага, крик, который с силой вырывается из сердец, перед которыми мерцают границы вечности. Это крик, о котором давно забыли в потоке культуры, крик, состоящий из распознавания, ужаса и кровожадности.

Также и из кровожадности. Наряду с ужасом кровожадность – это второе, что зажигает бойца потоком красных волн: опьянение, жажда крови, когда сверкающее облако уничтожения тяготеет над полями гнева. Пусть это покажется странным тому, кто никогда не боролся за существование, но вид противника наряду с последним ужасом приносит также освобождение от тяжелого, невыносимого давления. Это наслаждение крови, которое висит над войной как красный штормовой парус над черной галерой, в своем безграничном размахе родственное только любви. Оно уже дергает за нервы в лоне возбужденных городов, когда колонны под дождем ярких роз совершают свой ход мучеников к вокзалу. Оно тлеет в массах, безумствующих вокруг них с ликующими возгласами и резкими криками, оно – часть чувств, которые проливаются на шагающие к смерти гекатомбы. Накапливаясь в дни перед сражением, в болезненном напряжении вечера накануне боя, на марше к грохоту, в зоне ужаса перед борьбой не на жизнь, а на смерть, оно вспыхивает до скрежещущей ярости, когда ливень снарядов разбивает шеренги. Оно сжимает все стремления вокруг одного желания: броситься на противника, схватить его, как этого требует кровь, без оружия, в упоении, с диким ударом кулаков. Так это было испокон веков.

Таков круг чувств, борьба, которая бушует в груди бойца, когда он блуждает по огненной пустыне великих сражений: ужас, страх, предчувствие уничтожения и страстное желание полностью освободиться в бою. Если он разрядил неистовствующий в огромном маленький мир в себе, скопившуюся дикость во внезапном взрыве, ясной памяти о навсегда потерянных мгновениях, если кровь потекла, то ли из его собственной раны, то ли из раны его врага, то пелена спадает с его глаз. Он пристально смотрит вокруг себя, лунатик, просыпающийся из тягостных снов. Чудовищный сон, который снился части зверя в нем в воспоминании о временах, когда человек во всегда находящихся под угрозой ордах сражался в пустынных степях, опьяняет и оставляет его, ужаснувшегося,

ослепленного непредвиденным в его собственной груди, изможденного из-за его огромного расточительства воли и жестокой силы.

Только тогда он осознает, куда привел его атакующий шаг, осознает множество опасностей, которых он избежал, и бледнеет. Только за этой гранью начинается мужество.

3. Ужас

Также ужас принадлежит к кругу чувств, которые давно покоятся на наших глубинах, чтобы при сильных потрясениях вырваться оттуда со стихийной силой. Редко его темные крылья порхают над высоким лбом современного человека.

Для первобытного человека это был постоянный, невидимый провожатый в его путешествиях по беспредельности пустых степей. Он являлся ему ночью, в громе и молнии и бросал его на колени с удушающей хваткой, его, нашего предка, который, со своим жалким куском кремня в кулаке, противостоял всем силам земли. И, все же, как раз это мгновение его самой большой слабости поднимало его выше животного. Ибо зверь может, пожалуй, чувствовать страх, если к нему внезапно подкрадывается опасность, он может чувствовать страх, когда его преследуют и загоняют в угол, но, все же, ужас чужд ему. Это первая зарница разума.

Ужас также родственен наслаждению, опьянению кровью и желанию игры. Разве мы все, будучи детьми, долгими зимними вечерами не слушали внимательно зловещие истории? Тогда мы дрожали от страха, хотели спрятаться в защищенную пещеру и все же никак не могли наслушаться. Это было похоже на то, как если бы, заблудившись в камыше и тине, вы наткнулись бы на гнездо пятнистых змей и не могли бы убежать из-за желания рассмотреть их ужасный клубок.

В местах, где народ ищет возросшую жизнь, на каждой ярмарке, на каждой площади, где собираются стрелки, ужас на раскрашенном полотне манит своими яркими цветами. Умышленные убийства на сексуальной почве, казни, восковые тела, усеянные гнойными язвами, длинные шеренги анатомических уродств: – тот, кто выставляет это, тот знает желания масс и наполняет свои карманы. Часто и долго я стоял перед такими лавками и пристально смотрел на лица выходящих. Почти всегда там был смех, но он звучал, все же, так странно смущенно и сдавленно. Что должен был скрывать этот смех? И из-за чего я стоял там? Не

было ли это моим вождением ужаса? Желание детей и народа не чуждо никому.

Как и ребенок в кухне прислуги, деревенский парень в кунсткамере с уродцами, так и молодые добровольцы в казармах сидели, собравшись вокруг какого-то более старого солдата, в голосе которого еще дрожал ужас поля сражения. Пусть даже лица и бледнели, глаза темнели, но, все же, не было никого, кто не ожидал бы с еще большим нетерпением дня выступления. Это заставляло каждого пристально смотреть в лицо Горгоне, даже если биение сердца при этом могло умолкнуть.

И для каждого наступал час, когда это вскипало, темно, неопределенно, из глубины, как раз тогда, когда меньше всего об этом думали. Когда поля были пусты как в дни больших праздников, и, все же, совсем иначе. Когда кровь неслась сквозь мозг и артерии как перед ожидаемой ночью любви и еще гораздо горячее и более страшно. Когда приближались все ближе к бушующему шуму там впереди, когда удары становились все более грохочущими, все быстрее гнались друг за другом, когда перед изобилием несущихся мыслей вокруг вспыхивали равнины, когда чувство было таким, когда пейзаж и развитие событий только темно и сказочно выныривали в воспоминаниях. Боевое крещение! Там воздух был настолько заряжен переливающейся за край мужественностью, что каждый вдох опьянял, что можно было бы плакать, не зная почему. О, сердца мужчин, которые могут это чувствовать!

Потом он проносился вдоль колонны с взмахом крыльев летучей мыши, так что смех и возгласы замирали во рту. У края дороги лежал кто-то с деревянным и жестко-острым, восковым лицом, глаза которого так остекленело всматривались в пустоту. Первый мертвец, незабываемое мгновение, из-за которого леденела кровь в сердце. Тут ужас в каждом вставал на дыбы как бледная, испугавшаяся кляча перед ночной пропастью. И в мозг каждого навсегда вонзалось свое, разное впечатление. Для одного это была рука, как коготь вцепившаяся в мох и землю, для другого синеватые губы над белизной челюсти, для третьего черная, кровавая корка в волосах. Ах, как бы вы ни были подготовлены к этому мгновению, но все разбивалось в этой серой фигуре у обочины дороги, на грязном лице которой играли первые синие мухи. Эта фигура и бесчисленные другие, которые еще последовали за ней, появлялись снова и снова в их тысячах искаженных положениях с разорванными телами и зияющими черепами, бледные, предостерегающие духи обезумевших окопников перед штормом, до тех пор, пока не раздавался освобождающий призыв к атаке.

Ужас в нашем представлении неразделимо переплетен со смертью; мы не можем отделить одно от другого, как первобытный человек не мог отделить его от молнии, которая, вспыхивая, была рядом с ним в землю. Преодолеют ли поздние поколения также этот ужас и вспомнят ли в том же сострадательном умилении о нас, о нас и наших чувствах, заставлявших дрожать нашу грудь в блужданиях по бескрайней пустоши фронтов?

В этих ночных проходах через дрожащие пустыни сердце было таким одиноким и осиротелым, как если бы оно вибрировало, качаясь над смертельным мерцанием замерших морей. Все тепло поглощалось подстерегающей вокруг безжалостностью. Бесчисленные разы жалостливый вой медленно умирающего затихал в пустоте. Дальше, только дальше, к надежной пещере!

Хотя долгие годы уже прошагали по растоптанной, усеянной шрамами равнине, все же, всегда вскакивали внезапно, как бы просыпаясь из безумия и ужасных снов. Где были? Где-то на полях лунных кратеров? Низвергнуты в глубины ада? Ведь это же не могло быть земным ландшафтом, эта адская танцевальная площадка смерти, окруженная желтоватым пламенем по краям! Ни один очаг не бросал свой мирный свет в пространство, только пестрые сигналы уничтожения вырывались из какой-то ямы в воздух как пламенное вступление трещащей бойни. Ни один куст, ни один крохотный стебелек не задевал спотыкающуюся ногу. Бледные туманы и ядовитые газы окутывали острова печальных деревьев, черные, разбитые каркасы. Иногда появлялся дом, покинутый и развалившийся как обломки затонувшего корабля на дне моря. Что это было, что своими слизистыми щупальцами на ощупь искало сердце в неопределенном свете из всех углов? Ужас смерти и разложения.

Разложение. Кое-кто растворился без креста и могильного холмика на дожде, солнце и ветру. Мухи с жужжанием окружали его уединенность плотным облаком, душный угар парил вокруг него. Запах тлеющего человека нельзя ни с чем спутать, он тяжелый, сладковатый и противно липкий как жесткая каша. После больших битв он так тяжело нависал над полями, что даже самый голодный забывал о еде.

Часто маленький дозор твердых как сталь парней бесконечные дни держался в облаках битвы, отчаянно уцепившись за неизвестный кусочек траншеи или ряд воронок, как потерпевшие кораблекрушение в урагане цепляются за сломанные мачты. В их центре смерть вонзила в землю свой штандарт полководца. Трупные поля перед ними, скошенные их пулями, рядом с ними и между ними трупы товарищей, с самой смертью в их глазах, которые необычайно неподвижно лежали на вислых лицах, этих лицах, которые напоминали об ужасной реалистич-

ности старых картин распятия. Почти изнеможенные сидели они среди разложения, которое становилось невыносимо, если одна из железных бурь снова пробуждала застывшую пляску смерти и бросала истлевшие тела высоко в воздух.

И чем помогало то, что они посыпали песком и известью следующих или бросали брезент на них, чтобы ускользнуть от постоянного вида черных, распухших лиц? Их было слишком много; всюду лопата натыкалась на что-то засыпанное. Все тайны могилы лежали открыто в такой чудовищности, перед которой поблекли самые безумные сны. Волосы пучками спадали с черепов как вялая листва с осенних деревьев. Некоторые растворялись в зеленоватую рыбную мякоть, которая по ночам проблескивала сквозь разорванные мундиры. Если на нее наступали, то нога оставляла фосфорические следы. Другие высушивались, превращаясь в известковые, медленно осыпающиеся мумии. У иных мясо как красно-коричневый желатин стекало с костей. Душными ночами опухшие трупы просыпались к таинственной жизни, когда скопившиеся газы с шипением и бульканьем выходили из ран. Но самым страшным, тем не менее, было бурное копошение, вытекавшее из тех, которые состояли только лишь из одних бесчисленных червей.

Почему я должен беречь ваши нервы? Разве мы сами не лежали однажды четыре дня в ложбине между трупами? Разве нас всех там, мертвых и живых, не покрывал плотный ковер больших, сине-черных мух? Куда уже больше? Да: там лежал тот, с которым мы порой делили ночное дежурство, иногда бутылку вина и кусок хлеба. Как может говорить о войне тот, который не стоял в нашем кругу?

Когда после таких дней фронтовик шагал по городам глубокого тыла в серых, молчаливых колоннах, склонившись и в обносках, тогда его вид заставлял застыть самое рассеянное поведение беззаботных там позади него. «Как будто вытасчен из гроба», шептал кто-то своей девушке, и каждый содрогался, которого задевала пустота мертвых глаз. Эти мужчины были переполнены ужасом, они были бы потеряны без опьянения. Кто может определить это? Только поэт, проклятый поэт, *poète maudit* в сладострастном аду его снов.

Et dites-moi s'il est encore quelque torture Pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts? (И скажите мне, есть ли еще какая-то пытка для этого старого тела без души и умершего среди мертвых?)

Пронизывающий ужас, в его тонких излучениях доступный только самым чувствительным, лежал в контрасте, трескучем контрасте, там, где жизнь и уничтожение соприкасались в сильном олицетворении.

Этот ужас истекал из разрушения, страшного в своей мнимой бесцельности.

Как оскверненные могилы глазели в ночь опустошенные деревни, пронизанные белым лунным светом, окруженные вонью падали, с поросшими травой улицами, по которым проносились беззвучные полчища крыс. Медленно огибали пожарища богатых дворов, из-за неопределенного страха натолкнуться внезапно на привидения вырванных из мирной жизни. Не мог ли священник появиться за руинами пасторского дома? Что могла скрывать темнота подвалов? Труп женщины, пряди волос которой унесли черные грунтовые воды? В конюшнях висели трупы животных, все еще привязанных к обуглившимся балкам. На потрескавшейся дороге к воротам лежала как крохотный трупик детская кукла.

Через ужасное мы двигались в подбитых гвоздями сапогах, твердые и привычные к крови, с Франсуа Вийоном и Симплициусом Сиплициссимусом в ранце. И, все же, мы чувствовали, как что-то бродило вокруг осиротевших каминов и кое-кому перехватывало горло, такой ледяной хваткой, что нужно было глотать. Ведь мы были носителями войны, бесцеремонными и дерзкими, успевшими убить кое-кого, переступив через него и двинувшись дальше с сильными чувствами в груди. Все же, это было как детский стон из диких болот, таинственная жалоба как колокольный звон утонувшей Винеты над морем и полуднем. Подобно гибели того заносчивого города мы чувствовали безнадежное падение культуры, содрогаясь перед сознанием того, что нас самих унесет вихрем вместе с нею.

Между смехом и безумием часто лежит черта не тоньше лезвия ножа. Однажды, в начале наступления, я проходил по городу, из которого жители спасли только одну лишь свою жизнь. Мой провожатый толкнул меня с улыбкой и показал на дом, крыша и стены которого уже зияли трещинами. Удивительным образом витрина сохранилась в полном порядке посреди начинающегося разрушения. В витрине все ряды были полны женских шляпок. Несколькими днями раньше я, поздним вечером после боя в поисках павшего друга, растащил тела одной группы трупов. Внезапно из-под мундира одного из погибших солдат мне навстречу прыгнула откормленная крыса. Но даже это переживание не поразило меня так, как этот призрачный контраст между опустошенной улицей и сверкающей блестящей из лакированной соломы, шелка и пестрых перьев, которая так напоминала о женских руках и о тех тысячах безделушек, которые только и делают нашу жизнь пестрой.

Другой раз во время бесконечного ночного дежурства в темном углу траверсы вместе с одним старым воякой, я в ходе беседы шепотом спросил его о его самом ужасном переживании. В коротких паузах его сигарета вспыхивала под каской и освещала его изможденное лицо красным блеском. Он рассказал:

«В начале войны мы атаковали один дом, который был трактиром. Мы проникли в забаррикадированный подвал и сражались там в темноте со зверским ожесточением, в то время как над нами дом уже горел. Внезапно, скорее всего вызванная жаром огня, сверху послышалась автоматическая игра оркестриона. Я никогда не забуду, как в рычание бойцов и хрип умирающих вмешался беспечный трезвон танцевальной музыки».

Можно рассказать еще о многом другом. О мужчинах, которые смеялись громко и долго, после того, как пуля пробила им череп, об одном солдате, который зимней ночью сорвал с себя мундир и носился с ухмылкой по кровавым полям сражения, о сатанинском юморе больших перевязочных пунктов и кое-что другое. Но мы, дети времени, уже слишком устали от фактов. Очень устали.

И вовсе не факты, а как раз неизвестное, неопишное, глухое предчувствие, что иногда тлеет впереди как дым скрытого корабельного пожара. Вероятно, все это только химера.

И, все же, это снова лежало так ощутимо, так свинцово-тяжело на чувствах, когда покинутая толпа под сводом ночи пересекала неизвестные территории, далеко и ближе окруженная грохотом железных ударов. Если тогда вдруг луч жара вырывался в ее центре из земли, то крик потрясенного познания уносился к бесконечности. Потом в последнем огне темный занавес ужаса внезапно мог подняться у мозгов, но о том, что скрывалось за ним, застывший рот больше не мог рассказать.

4. Траншея

Траншея. Работа, ужас и кровь склепали из этого слова стальную башню, давящую на боязливые мозги. Не только вал и бастион между борющимися мирами, также вал и темная пещера сердец, которые она в постоянном изменении всасывала и извергала. Раскаленный молох, который медленно сжигал молодежь народов, превращая в шлак, натянутый кровеносный сосуд над руинами и оскверненными полями, из которого кровь человечества пульсировала в землю.

Издали она уже была ружейным приемом и холодным кулаком при проверке оружия и кутеже в деревнях на краю ужаса, где боец снова чувствовал у себя почву под ногами, снова трудился днем и спал ночью. Окна хлопали неумолимо, когда машина уничтожения гремела вдоль фронта, небрежно и размалывая. Вряд ли кто-то из привычных к крови еще слышал это. Только иногда, когда раскаленный глаз камина глазел в темные комнаты, и бродящему мозгу раскрывались цветы мира, ярко и оглушительно, крупные города на водоемах света, южное побережье, у которого пенились легкие, синие волны, залитые в шелка женщины, королевы бульваров, тогда зазвенело оно, тихо и резко как изогнутое лезвие, и черная угроза шумела через стекла. Тогда с дрожью кричали, требуя света и вина.

Иногда также бурлило, кипящая лава в огромных котлах, на западе темную красноту прокусывал утренний туман, или облачка грязного дыма порхали перед опускающимся солнцем. Тогда все до самой дальней точки стояли на земле, приготовившись к атаке, как боязливые жители низменностей при ревущем штормовом приливе. Как при потопе там мешки с песком и балки вбивают в глотку растрескавшихся стволов, так тут бросали батальоны и полки в горящие бреши разорванных траншей. Где-нибудь стоял у телефона кто-то с гранитным лицом над красным воротником и извергал название места руин, которое когда-то было деревней. Затем дребезжали команды, и стальное снаряжение, и темный жар изливался из тысяч глаз.

Но даже и тогда, когда каток войны катился более спокойно, сжатый костлявый кулак смерти всегда висел над пустынями. На широкой кромке земли вокруг траншей он господствовал со строгостью, и молодость, покорность и талант не имели значения, когда его свинцовый бич трещал на плоти и костях. Иногда даже казалось, как будто он особенно берег того, кто со смеющимся ртом дерзкой рукой хватался за свой противогаз.

Ночь за ночью темные колонны извивались к траншеям, окруженные мыслями в жадных толпах. Иногда они исчезали в деревнях, черных, зияющих ранах, сквозь руины которых ноги фронтовиков протоптали узкие тропинки. Там тлело из раскрытых домов, голые стропила пересекались как каркас под диском луны, паром падали несло из подвалов, из которых ускользал рой пищущих крыс. Так ужасно было это застывшее уничтожение, которого фантазия перебросила на бледных лошадей и жизнь оформляла, жизнь, как она могла бы водить кистью Гойи, жизнь, которая выползала из всех углов пожарищ и сплавлялась в ужасный хоровод.

Когда они с краев растоптанного, как серые тени, ныряли в бесконечные траншеи, то они чувствовали освобождение от тяжелого давления. Потому что они больше не зарывались между тлеющих тел прежнего состояния, по местам, где стояли брачное ложе и колыбель, на столах богатых дворов были вино и белый хлеб, покорные алтари склонялись на пестром солнце, вечером со всех башен изливалось вибрирующее удовлетворение на хижину, конюшни и поля.

Свободнее свистел ветер над разорванными полями, марш становился более торопливым, потому что темная угроза приобретала форму. Очень близко сверкало серебро шипящих осветительных ракет и шумело с холодным падением над цепями согнувшихся людей. Винтовки всюду разрывали покрывало ночи, сверкающие сети из стали и брызжущего свинца обтягивали землю. Вокруг извивались горизонты в красных судорогах, железные эскадры шумели, двигаясь к цели. Иногда они внезапно наклонялись из своей крутизны, и их резкая кривая тонула во взрыве, зубчатых лоскутах и глинистом грохоте. Там все бросалось вниз, испуганно и одурманенно как перед всемогущим божеством, и падало дальше, запыхавшись, подстегиваемое огнем, с трещащим раздроблением в ушах. Кое-кто оставался лежать, незамеченный, с кусочком земли в неподвижном кулаке, землей во рту и на грязном лице, печальный комок, трамплин для следующих, сердце которых побледнело, если их подкованный сапог тонул в чем-то мягком.

Наконец, они были у цели. Там другие уставились неподвижно как железные колонны, на пустые подступы. Еще возбужденные бегом под огнем заставляли себя перейти на шепот, потому что первой заповедью траншеи была тишина, тишина как на эшафоте и в доме мертвеца. Молча и спешно освобожденные, избавленные исчезали в темноте извилистых проходов.

Теперь они были окружены траншеей, стали одновременно ее хозяевами и рабами, затолканная в нее ночью толпа, экипаж судна, окруженного айсбергами. Они знали ее; каждый брошенный на бруствер ком земли был плодом их рук, они тысячу раз обошли каждую пядь ее темных углов. Они знали ее, когда ночью облака, как таинственные галеры, в лунном свете проплывали мимо и наблюдательные посты, траверсы, подземные ходы смотрели им навстречу в переменном свете как чужой, враждебный мир. Они знали ее, когда утренние туманы своим укутыванием увеличивали ужасы безнадежной пустыни и для глаз, горевших после ночной вахты, неподвижные линии колючей проволоки представлялись подвижным полчищем диких фигур. Они знали ее, когда в полдень ее окружало стеклянное небо, из диких цветов вытекали тяжелые запахи, и уединенность глубокого тыла раскрывалась вдали высматривающему взгляду.

Иногда они сидели вечером вместе перед черными пещерами, болтая и куря трубки, пока тепловатый воздух относил деловитый стук и родные песни к врагу. Поздний красный закат окружал руины, из дыр и углов пробивалась, расплескиваясь, ночь и теснила солнце от выступа к выступу, пока оно не прыгало с вершин бруствера в темноту. Тогда они расходились; начиналось их занятие. Один подкрадывался как охотник через проволоку на нейтральную полосу, другие стояли в сапах долгими часами в молчаливой засаде или били кирками по горной породе проходов.

Так траншея ежедневно с новой силой тяготела над своими согнувшимися жителями. Прожорливо она проглатывала в себя кровь, спокойствие и мужскую силу, чтобы сохранить свое медлительное движение. Бывали времена, когда работа кипела, без перерыва целые дни и ночи напролет. Если дождь размывал траншеи, железные вихри их перепахивали, то нужно было рыться в грязи и земле, чтобы подобно вытащенным на свет животным сразу снова исчезнуть в земле.

Также во времена сухости и когда бог войны редко трамбовал землю своей стальной дубиной, сто неподвижных глаз были уставлены на предполье, направленный на другую сторону. Сто ушей вечно вслушивались в переменные голоса ночи, крик одинокой птицы, дребезжание ветра в проволоке. Хуже быстрых часов открытой полевой битвы была эта вечная готовность, «лежание в засаде», напряжение всех чувств, ожидание убийственной встречи, в то время как иссякали недели, месяцы. От Альп к морю перекинулась цепь застывших мужчин над пашнями, лесами, болотами, реками и вершинами, зимой и летом, днем и ночью. Обветренные, износившиеся, иссушенные, покрытые глинистой коркой, безжизненные вплоть до огней, которые сверкали в темной глубине глаз, они, казалось, укоренились в траншеях как часть земли, которая их окружала. Бесконечна как однообразный прибой волн в дали сумрачных океанов была сумма мыслей, желаний, проклятий, надежд, которые двигала уединенность бесчисленных часов. Если по полудням кипящий воздух танцевал над желтым песком и заставлял дали вздрагивать, тогда из жары выныривали мечты о золотом урожае, взмахе блестящих кос, отдыхе среди островков тени отдельных деревьев в поле. Тепло, близость, домашний быт, рождество были раскаленным видением, когда через тонкость ледяных ночей дребезжал топот застывших ног, и лунный свет покрывал сталь винтовок синим холодом. Если же дождь неделями шумел с равномерной силой, то звучали только плескание ожидающих смен, хлопающий удар крошащейся земли и непрерывный кашель вдоль всей линии, пока даже самый последний вымпел мужества не утонул в грязных потоках.

Но всегда, при жаре, сырости или ледяном ветре, на самом дне их бытия лежало то чувство, что они находятся в борьбе, являются бойцами. Неделями все казалось как обычно, траншея была таким же местом как любое другое, по краям которого цвели цветы, и ночь закрывала его спокойствием. Но иногда, когда впереди две проволоки задевали друг друга, катился камушек, шум скользил по высокой траве, становилось видно, что все чувства были начеку. Тогда ухо и глаз заострялись до боли, тело нагибалось под каской, кулаки цепко сжимали оружие. Винтовка всегда была на расстоянии вытянутой руки: если внезапно открывался огонь или беспорядочные крики звучали в глубине проходов, то еще опьяненный сном первым делом хватался за винтовку. Это хватание оружия из глубин сна было чем-то, что лежало в крови, проявлением примитивного человека, тем же движением, с которым человек ледникового периода хватался за каменный топор.

Это придавало траншейному бойцу отпечаток животного, неизвестное, стихийно роковое, как в доисторическое время полное постоянной угрозы окружение. Другим тоже уже достаточно часто приходилось смотреть в пустые глазницы смерти, однако, только на часы или короткие дни. Когда летчик поднимался над войсками для боя, то это становилось только короткой игрой за жизнь, в которой вполне подобало мужественному человеку сражаться в белом воротнике и с небрежной улыбкой. Для него бой был еще хмельным напитком, поднесенным в бокале мгновения, как в давно ушедших днях буйного галопа по полю и инею, в то время как утреннее солнце танцевало на пестрых мундирах и обнаженных клинках, или парадной атаки пехоты за шелком простреленных знамен, окруженной шумом усмиренной ярости железных маршей. Раньше война увенчивалась днями, в которые смерть была радостью, поднимавшейся над временами как сверкающие памятники мужского мужества.

Траншея, напротив, сделала войну профессией, воинов поденщиками смерти, источенными кровавыми буднями. Романтичное сказание тоже стало чувством стесненного предчувствия, подстерегавшего солдата накануне, у костра, при скачке в утреннюю зарю, и которое превращало для него мир в темно-торжественный собор, полный вдох в тяжелый вдох, в причастие перед тяжелым ходом. Для лирического размышления, для почтения перед собственным величием у траншеи не было пространства. Все тонкое измельчено и растоптано, все нежное опалено ярким развитием событий.

И в короткие дни спокойствия тоже никогда не было времени, чтобы предаваться таким настроениям. Там бросались в жизнь, хватали ее обеими руками, гнали ее через мозг в сконцентрированном упоении, как будто бы избежали галер. Там можно было понять, почему команда тонущего корабля бросает помпы, раз-

бывает бочки с ромом и позволяли пламени чувств еще раз взметнуться до небес. Временами потребность была принуждением взорвать черные дамбы, которыми траншеи окружали воды бытия, и в опьянении насмеяться над постоянно угрожающим сжатым кулаком.

Также в подземных ходах, убежищах, блиндажах, вырытых для защиты и спокойствия, редко расцветали часы, в которые дорога жизни широко разворачивалась над ленивыми сумерками. Да и как можно было дышать свободнее в этих пещерах, обитые деревом стены которых прогрызала желтоватая плесень, в туманах которых плавали маленькие, дрожащие огоньки свеч и покрывали влажные, с грубой корой балки блестящими отблесками. Это были тесные гнезда закутанных, грязных людей, полные чада, испарений и табачного дыма. Иногда один вставал, безмолвно, брал в руку винтовку и исчезал. Потом с шумом вниз спускался другой, безразличный, усталый, и занимал пустое место, смена, которую едва ли замечали. Обрывки слов, оборванные как короткие удары разрывающихся снаружи снарядов, соединялись к однотонной беседе. Все были настолько связаны друг с другом, так переплетены с одним и тем же колесом судьбы, что понимали друг друга почти без слов. Каждый бродил по одному и тому же ночному пейзажу чувств, вздох, проклятие, слово шуток были огнями, которые на мгновения разрывали темноту над пропастью.

Конечно, бывали и часы, в которых товарищество раскалялось и расплавляло цепи, которыми траншея обвивала сердца. Тут каждый был еще сам по себе, кто-то пристально глядел в жар крохотной печки, кто-то отрезал лопоту от своего хлеба, кто-то на топчане натягивал одеяло на голову. Там чей-то голос разбивал тупость и рассказывал о какой-то деревне, каких-то людях, о воскресеньях и буднях, о спокойствии и работе. Тут в каждом просыпалось что-то родственное, маленький неизвестный круг, который окружает, впрочем, всю жизнь, блеск комьев земли под плугом, дым над родными крышами, звон праздничных колоколов над одинокими полями. Тогда сердца бились сильнее от радости, источники вспыхивали из скрытых артерий, безучастная неподвижность глаз таяла перед блеском. Так нежно, так неловко каждый предлагал другому свою маленькую незначительность, что волна его чувства даже вырывалась вверх над траншеей. Это было одним из мгновений, в которые человек скидывал весь груз траншеи с себя, и человечность как мимолетный осветительный луч прожектора проносился над ужасом дикой пустоши. Если бы в такое мгновение кладоискатель чувств шагнул бы снаружи над истерзанной землей, то набитая людьми пещера сияла бы ему снизу вверх как золото из глубины.

Все же, скоро эта ясность снова разрывалась на куски в вечности траншеи. Механически они снова брали лопаты в руки, поднимались на посты или подкра-

дывались в неизвестность. Истощенные, промерзшие, дрожащие от волнения, возвращались и бросались на доски своих кроватей. Медленно угасала свеча, крыса грызла рамку штольни, беспрерывно гроыхали капли со своей однообразной мелодией. Когда горящие глаза, наконец, закрывались, то мозги были даже во сне еще окружены подстерегающими в засаде ужасами. Беспокойно валялись тела на жестких досках, достаточно часто стон, крик из глубины диких снов цеплялся за темноту крохотного помещения. Так дребезжание цепей и жалостный крик покинутых животных таинственно вылетает из глухих конюшен над полями и одинокими дворами.

Но и здесь, в лоне земли, людей охватывал ужас тысячью рук. Где-нибудь, очень близко, рядом с кем-то, под кем-то, этот ужас мог скользнуть в запутанных проходах, копать, стучать и накапливать взрывчатку, ползком и тайком при тлении рудничных ламп. Где-то в воронках нейтральной полосы шепчущая толпа, готовая к прыжку и обвешанная оружием, могла ждать, чтобы броситься к траншее на внезапную бойню, на короткую оргию в огне и крови. Всюду окрестности были протканы скрытой жизнью и действиями, расплывчатыми пыхтящими под своим грузом оружия цепей носильщиков, шепотом вооруженных фигур. И это давление, эта тяжесть, прокатывавшаяся над замершими полями, тяготела также как свинцовый колокол над сердцем каждого отдельного человека. Это было видно, когда снаружи глухо разрывалась земля траншейной кромки, или замерзший часовой тихо кричал книзу к своему сменщику. Тогда окопы сна разрывались ярким осознанием, спящий испуганно просыпался в ожидании того, что перед ним темнеют ворота какого-то ужасного события.

И однажды, раньше или позже, наступал день, в который эти темные ворота вспыхивали, который своим ярким светом затмевал все предчувствия и все ожидания в молнии исполнения. В большинстве случаев эти ревушие грозы прыгали на солдат в траншеях с внезапной яростью как дикие звери из засады. В боевых уставах это называлось моментом неожиданности. Так неожиданно вскипал котел, когда черные ленты проволочных заграждений раздирались из рассвета, и похожие на миражи фигуры окружали жаждущие сна глаза часовых. Тогда сразу лопались горизонты, утренние туманы наполнялись краснотой пламени, над траншеей поднимались огонь, брызжущая земля и дым.

Это облако было пламенным занавесом, под которым боролись и умирали окопные солдаты, занавесом, который навечно окутывал все, что порождали эти часы в мужестве и сверхчеловеческой смелости, занавесом, который смерть опускала на свои жертвы, которые ждали, несказанно покинутые, разбросанные по своим печальным дырам. Бесчисленные погибали так, одиноко и далеко от человечеством в темных пещерах или дымящихся воронках, причем их последний,

ищущий взгляд остекленевших глаз не мог видеть ничего вокруг, кроме голой, разорванной земли. Бесчисленные другие падали на телах этих погибших в апогее битвы, когда длинные человеческие волны выплескивались из траншей.

Там траншея показывала свое истинное лицо. С нее падало все, чем человек, который любит скрывать ужасное, ее украшал и декорировал. Измельченными, разорванными становились скамьи для отдыха, резные доски, букет цветов, посаженный часовым в снарядной гильзе. Только отвесные стены, траверсы, стояли как неподвижные, черные кулисы, перед которыми гналась друг за другом в огне и тумане цепь драматических сцен. Там неслись сражающимися толпами элиты наций, бесстрашные атакующие сквозь сумерки, выдрессированные на то, чтобы по свистку или короткому приказу бросаться в смерть. Если две группы таких бойцов встречались в узких проходах горячей пустыни, то тут сталкивалось олицетворение самой беспощадной воли двух народов. Это был апогей войны, апогей, который превосходил все ужасное, которое разрывало раньше нервы. Парализующая секунда тишины, в которой встречались взгляды, предшествовала. Затем поднимался крик, круто, дико, кроваво-красно, который выжигался на мозгах как раскаленное незабываемое клеймо. Этот крик срывал покрывало темных, непредвиденных миров чувства, он принуждал каждого, кто слышал его, подсакивать вперед, чтобы убивать или быть убитым. Что значили там поднятые руки, просьба о пощаде или товарищ? Там было только одно объяснение: объяснение крови. Дрожащие осветительные ракеты висели над удушьем, дух которого не поддается никакому описанию, и у которого не было никаких зрителей кроме истекающих кровью в темных углах, в раскрытых глазах которых эта злобная пустыня стала последней картиной, с которой они уносились в великое молчание.

Эти оргии ярости были короткими, неистовыми приступами лихорадки, когда они испарялись, то после них оставалась траншея, подобная разорванной постели человека, умершего в судорогах. Бледные фигуры с белыми бинтами пристально вглядывались в чудо восходящего солнца, не в состоянии понять действительность мира и пережитого. В однообразном повторении раздавались и стихали крики раненых, медленно умиравших на нейтральной полосе, в воронках или повисших на колючей проволоке.

Снова дни и ночи двигались над траншеей, корабли, которые отвозили в вечность всегда одинаковый груз. Тление нависало над пейзажем. Медленно разлагались мертвецы, они полностью объединялись с землей, полностью с траншеей, за которую они сражались. Где-то на ветру и в сумерках на краю траншеи колебались два ивовых прута, из которых кто-то из товарищей связал крест.

5. Эрос

Когда война как факел вспыхнула над серой каменной стеной городов, каждый внезапно почувствовал себя вырванным из цепи его привычных дней. Шатаясь, сбитые с толку, массы протекали по улицам под гребнем огромной кровавой волны, которая громоздилась перед ними. Перед этой волной крохотными становились все те ценности, переплетение которых время раскачивало все более неистово. Тонкое, запутанное, все острее отточенная культура нюансов, хитроумное расщепление наслаждения испарялись в брызжущем кратере инстинктов, которых считали ушедшими на дно. Утончение духа, нежный культ мозга затонули в грохочущем возрождении варварства. На трон дня поднимали других богов: силу, кулак и мужское мужество. Когда их олицетворение гремело по асфальту в длинных колоннах вооруженной молодежи, то ликование и почтительная дрожь охватывали массу.

В полном соответствии с естественным процессом произошло так, что это повторное открытие силы, это доведенная до апогея мужественность должны были изменить также и отношения между полами. К этому добавилась более сильная воля держаться за жизнь, более глубокое наслаждение жизнью в танце поденок над пропастью вечности.

Каждое сотрясение основ культуры высвобождает внезапные проявления чувственности. Жизненный нерв, до сих пор изолированный и укутанный всеми предохранениями, которые могло предложить общество, внезапно оказывается совершенно беззащитным. Существование, небрежно всасываемое человеком как далекий воздух, брошено, необычная близость опасности вызывает сказочные и запутанные чувства. Заботливо распределенный по полям лет, стоял урожай наслаждения; если первоисточник иссякает, то плоды должны засохнуть. Сокровища в сундуках, вина в подвалах, все, что раньше называлось владением и изобилием, внезапно стало удивительно излишним, и почти бременем. Рука хотела бы схватить дукаты – как долго будет еще время, чтобы наслаждаться ими? Насколько же превосходно бургундское! Кто будет хлебать это вино, если тебя больше не будет? Станет ли тебе тепло, если наследник опустит нос в стакан и попробует букет? Ах, если бы можно было опустошить все бочки одним единственным, диким глотком! После нас хоть потоп, в могиле радостей больше не будет!

О, жизнь! Еще раз, еще раз, вероятно, последний! Подрывать свои силы, кутить, расточительствовать, разбрызгивать весь фейерверк на тысячах солнц и вращающихся колесах огней, сжечь накопленную силу перед уходом в ледяную пустыню. Внутри в шум плоти, иметь тысячи глотков, соорудать фаллосу свер-

кающие храмы. Если уж часам суждено остановиться навечно, то пусть стрелки еще как можно быстрее пронесутся по циферблату через все часы ночи и дня.

Так освобождались силы, которые до сих пор переплетались как шестереночный механизм, из их привычного хода, чтобы объединиться в мощное выражение чувственного человека. Это была безусловная необходимость, хоть и скрытая под романтичными покрывалами и отлитая духом времени в его более или менее приемлемые формы, но все же, тот обратный удар, который всегда происходил, и всегда происходит, когда твердая почва существования начинает колебаться. Так огни из всех окон каморок мерцали в неизвестную ночь, улицы городов шумели перед поспешной сутолокой, воздух был до предела насыщен ухаживанием и готовностью отдаться. Самое восхитительное в жизни, что она как раз тогда, когда смерть душит наиболее жадно, на войне, революции и при чуме, сверкает пестрее всего и сильнее всего. И каждое из бесчисленных объятий, в которое два человека убегали друг к другу в начале грозы смены мировых эпох, было победой жизни в ее вечной силе. Очень глухо это чувствовал, пожалуй, каждый, даже самый упавший духом: когда его дыхание замирало в вихре любви, он был так освобожден от своего «Я», так вовлечен во вращающуюся жизнь, так влит в вечную вселенную, что на это мгновение смерть представлялась ему в ее подлинном виде, мелкой и ничтожной. Она оставалась где-то в самом низу, когда кривая чувства круто поднималась вверх над сознанием.

Два чувства выходят нам навстречу как причины этого сигизийного прилива чувственных проявлений: стремление жизни еще раз выразиться на более высоком уровне и бегство в чащу опьянений, чтобы в наслаждении забыть угрожающие опасности. Наряду с этим, естественно, резонирует еще и многое другое, однако, наша ограниченная постановка вопроса всегда сможет отнимать у царства души только маленькие провинции.

Чем дольше продолжалась война, тем четче она придавала половой любви свою форму. Под ударами неутомимых молотобойцев любовь быстро потеряла блеск и полировку, как и все, что человек привносил с собой в борьбу. Также и она пропитывалась духом, который действовал в бойцах великих битв. Дух битвы техники и окопной борьбы, которую вели до самого конца более безжалостно, более дико, более жестоко, чем когда-либо другую войну, породил мужчин, которых до сих пор не видел мир. Это была новая раса, воплощенная энергия и заряженная наивысшей мощью. Эластичные, худые, жилистые тела, с характерными чертами лица, глаза под каской окаменели, увидев тысячи ужасов. Они были победителями, стальными натурами, настроенными на борьбу в ее самой ужасной форме. Их бег через расколотые пейзажи означал последний триумф фантастического ужаса. Когда их дерзкие группы врываются на разбитые пози-

ции, где бледные фигуры смотрели на них блуждающими глазами, то освобожились непредвиденные энергии. Жонглеры смерти, мастера взрывчатки и огня, великолепные хищники, они неслись по траншеям.

В момент встречи они были высшим проявлением самого боеспособного, что мог нести мир, самого сильного комплекса тела, интеллекта, воли и чувств.

Естественно, это были только немногие избранные, в которых так сконцентрированно сжималась война, но дух времени ведь всегда несут только отдельные люди. Ясно, что во всем, что их вело, должна была вырваться сущность этих мужчин в коротком решительном поступке. Как они выше всего ценили алкоголь в его сильных, неразбавленных формах, так они должны были бросаться в красной атаке на препятствие какого-либо опьянения. Полностью бросаться в опьянение, пить жизнь – таков был лозунг в коротких передышках между битвами. Какой мог бы быть вред, если утреннее солнце находило их под обломками стола для выпивки? Чувство буржуазной репутации было от них бесконечно далеко. Чем было здоровье? Оно ведь важно для тех людей, которые надеются дожить до преклонного возраста.

Зоркие и обветренные шагали они по улицам чужих городов, ландскнехты также любви, которые могли протянуть руку ко всему, потому что им нечего было терять. Мимолетные странники на дорогах войны, они хватали так, как они были привычны, с твердым кулаком и без большого чувства. У них не было времени на длительное ухаживание, на процесс в духе романов, для всей той всячины, потребность в которой остается даже у самой маленькой мещаночки. Они требовали от одного часа и цветка и плода. Так что им приходилось искать любовь в тех местах, где ее предлагали им без всяких покровов.

Не вспыхивали ли перекрестки нынешних военных дорог ночь за ночью под знаком Эроса, освобожденного? Там щеголяла длинными рядами готовая женственность, лотосы асфальта. Брюссель! Жизнь, вспененная тысячей корабельных винтов. Как огромен был размах жизни и, все же, каким страшно механическим был он при этом – как сама война. Тут могла выдержать только стальная особенность, чтобы суметь не сточиться в вихре. Чистой функцией были эти привычные к любви тела, которые опьяняюще покачивались в приглашении, были увешены своими платьями как светящимися плакатами. Однажды я на долгое время прислонился к фонарю и снова и снова пил одну и ту же картину, которая повторялась, как однообразный удар волн на пляже. Снова и снова. Даже не было языка, который обычно служит для того же, что и скатерть, нож и вилка, призванные смягчить звериное в трапезе.

Из темных углов старых городских кварталов тлели красные глаза фонарей, соблазн к поспешному получению своей горсти наслаждения. Во внутренней части неприметных домов сверкали зеркала, текущий свет тонул в тяжести красного бархата. Это был пьяный смех, если металлическая хватка тонула в белом мясе. Воин и девочка, старый мотив.

Что происходило в деревнях, бесчисленно опоясывавших ужас? Мертвые они лежали в темноте, когда маршировали через них, только штык часового мерцал на рынке. И, все же, чужая раса неизгладимо зарывалась в чужую землю.

Когда красная жизнь волнами бьется о черные рифы смерти, ярко выраженные цвета совмещаются в резких изображениях. Это – мы живем посреди них – эпохи открытия, освобождения, не расположенные ни к какой тонкости, нежности и лирике. Всюду откатывающаяся назад жизнь сжимается к варварскому изобилию и мощности, не в последнюю очередь в любви и в искусстве. Это не время, чтобы читать о слезящихся глазах Вертера.

Иногда определенно – не являемся ли мы призмой, в которой преломляются все цвета? Кто хотел бы свести их к одной формуле? – более теплое мерцание затлело даже на краю сражения техники. Оно дрожало, вероятно, через растрескавшиеся ставни первого населенного домика над холодным ужасом ночи как ищущая рука дозора чувства. Там два человека лежали друг у друга в деревенской комнатухе под грубыми полотнами и на короткие часы чувствовали себя безопасно у грани уничтожения, наверняка, столь же безопасно как две молодые птицы на верхушке дерева, когда ночные леса со скрипом колышутся в штормовом ветре. Вероятно, студент и пикардийская крестьянская девушка, брошенные друг к другу на каком-то утесе войны. Теперь они были полностью одним ощущением, два сердца сплавлялись друг с другом в ледяном мире. В то время как маленькое стекло содрогалось в такт молота близкого фронта, две губы ласкали ухо мужчины, настойчиво стараясь влить в него всю мелодию иностранного языка. Там эта минута хотела бы зажечь в нем представление о душе ее страны, светлее, чем мудрость всех книг и всех университетов раньше. Ведь что значит такое понимание мозга в сравнении с пониманием сердца?

Такая ночь была искуплением, освобождением, пусть даже утро было бы разбито ревущим огнем. Кто-то маршировал, пожалуй, в рядах старых ландскнехтов с блестящими глазами и легким шагом. Если даже его сердце не окапывалось за своенравными песнями и жесткими шутками, то, все же, оно содрогалось слегка меньше при ужасном ливне, как их сердца. Он ровно стоял под градом снарядов, еще с дымкой поцелуев в волосах. Смерть приближалась как друг, зрелый хлеб падал под серпом.

6. Пацифизм

Война – это самая могущественная встреча народов. В то время как в торговле и на транспорте, при соревнованиях и конгрессах соприкасаются только их выдвинутые вершины, на войне вся команда знает только одну цель, врага. Какие вопросы и идеи не волновали бы всегда мир, только кровавое противоборство всегда решало их. Вероятно, вся свобода, все величие и вся культура были рождены в идее, в тишине, однако только с помощью войн они сохранялись, распространилась или терялись. Только через войну великие религии становятся достоянием всей Земли, самые умелые расы проросли к свету из темных корней, бесчисленные рабы превратились в свободных людей. Война – это в столь же малой степени человеческое учреждение, как и половой инстинкт; она – закон природы, поэтому мы никогда не избежим ее чар. Мы не можем отрицать ее, иначе она поглотит нас.

Наше время показывает сильные пацифистские тенденции. Это течение исходит из двух источников, идеализма и боязни крови. Один отвергает войну, потому что он любит людей, другой, потому что боится. Эстет тоже относится к этому.

Один – мученик по своей природе. Он – солдат идеи; у него есть мужество: поэтому его нужно уважать. Для него человечество более ценно, чем нация. Он полагает, что яростные народы только наносят кровавые раны человечеству. И что, когда звенит оружие, тогда останавливается строительство башни, которую мы хотим достроить до самого неба. Так он упирается между кровавыми волнами, и они его уничтожают.

Для другого самое святое – его собственная личность; поэтому он убегает или боится борьбы. Он – пацифист, который посещает боксерские матчи. В тысячи блестящих оболочек – особенно в покровы мученика – он умеет облекать свою слабость, и кое-что из этого кажется даже слишком заманчивым. Однако нужно иметь ясное представление об этом: если дух всего народа поддается такому направлению, то это признак шторма близкого заката. Какой бы выдающейся еще ни оставалась культура – но если мужской нерв теряет силу, то она – гигант на глиняных ногах. Чем величественнее ее строение, тем страшнее его падение.

Возможно, кто-то бы здесь спросил: «Возможно, Господь Бог и может быть на стороне самых сильных батальонов, однако, стоят ли самые сильные батальоны на стороне наивысшей культуры?» Как раз поэтому святой долг наивысшей культуры состоит в том, чтобы иметь самые сильные батальоны. Могут наступить времена, когда быстрые копыта варварских коней прогромяют над гру-

дами обломков наших городов. Только сильный держит свой мир в кулаке, у слабого же миру придется растаять в хаосе.

Если мы рассмотрим культуру или ее живого носителя, народ, как постоянно растущий шар, то воля, безусловная и бескомпромиссная воля хранить и увеличивать, это значит: воля к борьбе, является его магнитным центром, благодаря которому структура шара укрепляется и постоянно притягивает к себе все новые части. Если этот центр утратит свою силу, то шару придется разлететься на атомы.

Примеров из истории множество. При каждом крушении мы видим слабость, которую какой-то удар снаружи внезапно раскрывает. Этот удар каждый раз наступает с безошибочной уверенностью; это заложено в структуре мира. Страсть к разрушению глубоко укоренилась в человеческой сущности; все слабое падает ее жертвой. Что плохого сделали перуанцы испанцам? У кого есть уши для этого, тому ответ сплут кроны девственного леса, которые сегодня сбрасывают свою листву на руины их солнечных храмов. Это песня о жизни, которая проглатывает сама себя. Жить значит убивать.

На острове Маврикий жил когда-то народ дронтов, самый мирный народ, который только можно вообразить; все-таки они даже были близкими родственниками голубям. Действительно у них не было врага, они едва ли могли ходить из-за неуклюжести и кормились растениями. Их мясо было несъедобно; отсюда их прозвище «отвратительных птиц». Несмотря ни на что: они были искоренены, почти сразу после того, как их затерянный в океане островок был найден. Картина, которую можно себе представить очень четко: голландский корабельный народ, без устали – в таких вещах человек действительно неутомим, никто не бывает более неутомим, чем охотник – размахивая дубинками и тяжелыми рангоутами, и много тысяч больших, медлительных птиц, которые рассматривают бойню удивленными глазами, до тех пор, пока не разбивают также и их череп.

«Ну ладно, но все-таки, этот маленький эпизод произошел еще перед Тридцатилетней войной. Все же, можно было бы предположить, что сегодня во время обязательного школьного образования, обществ защиты животных и т. д., и т. д».

В 1917 году я стоял на улице Брюсселя перед освещенной витриной. Там горками были сложены изделия из фарфора, изящные маленькие вещицы из Мейсена, Лиможа и Копенгагена, цветные венецианские кубки, большие чаши из прозрачного как вода отполированного хрусталя. Я люблю, когда я прогуливаюсь

неторопливо по большим городам, долгое время проводить перед этими музеями роскошного прикладного искусства, которые, сверкая, плавают в свете. При этом ощущаешь то же чувство богатства, красоты и изобилия, с которым проходишь по аллеям большого застывшего в аристократическом осеннем наряде парка, не думая при этом, что не владеешь им.

На этот раз, тем не менее, мне помешали рассматривать витрину двое солдат, которые прислонились возле меня к латунной жерди. Они были несомненными типами с фронта; окопы заставили их шинели поблекнуть и сноситься, бой вырезал у них острые как нож профили. Лица были смелы и умны, вокруг глаз и рта лежало окаменевшее напряжение, сформированное мгновениями за колотящими пулеметами. Все же опытный взгляд уже замечал маленькие признаки начинающегося изнурения по их позам и одежде.

«Ну, здесь и не скажешь, что идет война. Тут все есть!»

«Дружище, если бы сюда однажды влупила 38-сантиметровка прямым попаданием, вон там, прямо оттуда сверху».

«Да, тогда все это дерьмо уж точно подпрыгнуло бы кверху!»

Можно было прямо по лицу отчетливо заметить у них наслаждение, которым эта мысль наполняла их. Маленькая осветительная вспышка заставила меня задуматься. Теперь это были два человека, которым война, несомненно, «надоела хуже пареной редьки», тем не менее, они остались, по сути, во всем теми же. Они устали, были разбиты механическим действием, измучены; но в нравственном познании они не выиграли ничего.

В этот момент я с ясностью понял: эти люди никогда не преодолеют войну, потому что она больше чем они. Пожалуй, истощенный кулак когда-то опустится, возможно, они будут некоторое время стоять в стороне, кашляя, возможно, они окончат эту или ту войну миром, может быть, они иногда будут говорить: это было последней войной. Но война не мертва, если никакие деревни и города больше не горят, если миллионы с судорожно сжатым кулаком больше не истекают кровью в огне, если больше не пристегивают людей как жалобно стонущие свертки к чистым столам военных госпиталей. Войну не порождают некоторые политики или дипломаты, как кое-кто верит. Все это только внешне. Настоящие источники войны проистекают глубоко в нашей груди, и все ужасное, что заливают временами мир, – это только отражение человеческой души, обнаружившееся в развитии событий.

Как часто можно было слышать, как они вздыхали в своих блиндажах: «Не хорошо, что люди кончают с собой». Однако под этим они подразумевали только: «Не хорошо быть убитым». И, все же, это были всякий раз именно те, которые хладнокровно кололи штыком и насмешливо кричали при этом: «Ничего, ка-мрад!», когда умоляющие руки протягивались к ним. – Все долгое лето мы лежали на одном и том же голом холмистом ландшафте в Артуа, боевой полк, потерянная кучка, давно отчужденные от суматохи городов. В течение месяцев мы не видели ни одной женщины, не слышали ни звона колоколов, ни фабричного гудка. Изрытая, покрытая шрамами дикая местность, ставшие до одинаковости безразличными лица товарищей, тысячи шумов скрытой, непрерывно работающей борьбы, тучи снарядов днями и мерцание сигнальных ракет ночью: Все это было нам настолько привычно, что мы едва ли замечали это. Каждую девятую ночь мы маршировали из траншей назад в заброшенное гнездо, чтобы отоспаться и почистить наши винтовки.

Равнина перед нами была пустыней. Мы рассматривали ее изо дня в день, долго и резко через узкие щели наших амбразур, взволнованные тем любопытным ужасом, который овеивает неизвестную страну. Тихими ночами ветер доносил к нам голоса, кашель, стук, грохот молотков и далекое, расплывчатое вращение колес. Тогда нас наполняло очень необычное боязливое и жадное чувство, вроде того, которое может чувствовать охотник, подстерегающий огромного, загадочного зверя на поляне в джунглях.

В полдень мы часто сидели вместе в солнечном пятне траншеи, курили и молчали, так как мы были уже настолько долго знакомы, что нам больше не требовалось разговаривать. Скованные вместе безжалостными условиями как прикованные к галере рабы, мы в большинстве случаев были ворчливы и едва ли могли больше видеть друг друга. Иногда кто-то из тех, кто сидел в тылу, проходил мимо нас, очень спешно и деловито, держа в руке карту, полную красных и синих линий и знаков. Очень просто, синими чертами были мы, а красными враг. Мы видели, что он был выбрит, что его сапоги блестели, что его интересовало то, что нам осточертело, и делали ряд горьких шуток об этом. Тогда чувство фронта объединяло нас, то чувство животной сплоченности в жизни и смерти, о которой они много писали и говорили на родине, и под которой они понимали, по-видимому, громкое единогласие атакующего крика и сигнала «вперед!» сигнальных рожков на утренней заре. Ах, как давно уже мы обменяли бы эту сверкающую кожу героизма на грязный халат поденщиков.

Почти каждый день кто-то один погибал, иногда совсем рядом с нами; порой мы замечали это только, когда, проходя по траншеям, находили его уже окоченевшее тело у поста часового. В большинстве случаев у них были выстрелы в голо-

ву, вызванные случайной пулей, нашедшей брешь между мешками с песком. В голове, должно быть, было очень много артерий; мы снова и снова удивлялись массе крови, которая может вытечь из человека. Иногда также кого-то разрывал снаряд или мина, так, что даже лучший друг больше не мог его узнать. Тогда мы поднимали разорванную трупную массу на брезент нашими лопатами, чтобы завернуть ее. На этих местах глина еще долго показывала большие, расплывчатые пятна ржавчины. Мы несли трупы ночью назад и погребали их на кладбище, которое постоянно увеличивалось. Столяр вырезал им железный крест, фельдфебель вычеркивал их имя из списка личного состава, командир роты подписывал. Скоро мы забывали их и сохраняли только неясное воспоминание о них. Вероятно, один говорил однажды вечером: «Знаешь ли ты еще, маленького толстяка с рыжими волосами? Он однажды должен был соединить проволокой неразорвавшиеся снаряды, а у него не было с собой молотка. Так что делает этот парень? Берет неразорвавшийся снаряд и вбивает им столбики. Полковник как раз проезжал мимо и от страха чуть не упал с лошади. Вот такой был разгильдяй!»

Так мы жили однообразно беспечно, окруженные смертью и дикой местностью. Давно борьба потеряла для нас ощущение чего-то чрезвычайного: она стала для нас постоянным состоянием, элементом, проявлениями которого мы довольствовались как явлениями неба и земли. Наша прежняя жизнь была для нас только лишь глухой мечтой, с которой мы все больше теряли связь. Если мы посылали письма на родину, то мы писали об общем или изображали внешнее лицо войны, не ее душу. Немногие из нас, которые отдавали себе отчет, пожалуй, знали, что там позади они никогда не поймут.

Медленно наступила осень.

Тут произошло нечто совсем неожиданное, кое-что, что мы никогда не считали бы возможным. Бурной ночью дикий дождь лился на траншеи. Замерзшие и мокрые часовые стояли на ветру и напрасно пытались зажечь снова угасшие трубки. Вода ручьями стекала со стен траншей на пол, размывала стены мешков с песком, разрушала траверсы, превращая их по очереди в жесткую кашу. Покрытые грязью солдаты выползали как разогнанный рой крыс из блиндажей, в которых вода поднималась все выше. Когда медленно и печально забрезжило утро за влажной пеленой, мы узнали, что на нас навалился настоящий всемирный потоп. Молча и застыв, мы сидели на корточках на последних выступах, которые уже начали крошиться. Давно утихло последнее проклятие, плохой знак. Что мы должны были делать? Мы были потеряны. Винтовки покрылись коркой грязи. Мы не могли оставаться в окопах, а высунуться над землей означало верную смерть. Мы знали это из тысячекратного опыта.

Внезапно с другой стороны раздался крик. По ту сторону проволочных заграждений появились фигуры в длинных желтых шинелях, которые едва ли можно было различить на фоне глинистой пустоши. Англичане, которые тоже не могли держаться дольше в их траншеях. Это было как настоящее освобождение, потому что наши силы были на исходе. Мы шагнули навстречу им.

Странные чувства проснулись при этом в нас, так сильно, что местность перед нашими глазами расплывалась как дым, как мечта. Мы так долго прятались в земле, что нам еле-еле казалось возможным, что днем еще можно было передвигаться на открытом поле, и говорить друг с другом человеческим языком, вместо языка пулемета. И теперь более высокая общая необходимость доказала, что это было совсем простым и естественным событием, если встречались на свободном поле и пожимали друг другу руки. Мы стояли между трупами, которые покрывали нейтральную полосу, и удивлялись все новым толпам, которые появлялись из всех углов систем траншей, нам и в голову не могло прийти, какая масса людей была скрыта на этой столь пустой и мертвой территории.

Скоро оживленная беседа развилась в больших группах, обменивались форменными пуговицами, шнапсом и виски, там обращались как к Фрицу, здесь как к Томми. Большое кладбище превратилось в ярмарку, и при этой очень непредвиденной разрядке после многомесячных, ожесточенных боев в нас вынырнуло предчувствие счастья и чистоты, которые скрываются в слове «мир». Уже не казалось невообразимым, что однажды лучшая команда народов вылезет из траншей, из-за внезапного порыва, из нравственного побуждения, чтобы подать друг другу руки, и окончательно помириться, как дети, которые долго ссорились. В эти мгновения солнце выступило за пеленой дождя, и каждому хотелось, пожалуй, ощутить что-то из приятного чувства, странной радости, с которой разряженный от чувства воли, больше не находящийся на задании дух предоставляет себя наслаждению жизни.

Тем не менее, радость длилась не долго, она была внезапно разрушена внезапным огнем из пулемета, который стоял на близком холме. С хлопаньем очередь пуль ударила об жирную землю или расплылась в зеркалах наполненных водой воронок. Мы бросились на землю, кое-кто утонул, сраженный пулей, в грязных дырах. Пока мы медленно ползли назад и едва ли могли освободить руки из жесткой грязи, зубчатая пила попаданий снова и снова полосовала наши ряды, пока мы не доползли до укрытия, чтобы скрываться там до вечера.

Да, если лежишь вот так на плоском как тарелка поле, и чувствуешь себя совсем забытым и беззащитным, тогда нельзя понять, что другой, кто сидит в су-

хом и безопасном месте, может так, без всякого сочувствия и жестоко стрелять по удобной для него цели.

Но если сам сидишь с избытком желанием за пулеметом, то толкотня там впереди – это не больше чем просто танец комаров. Для длинных очередей! Эй, сейчас вот как брызнет! Там все никак не хватает свинца, вылетающего из дула. И позже они сидят вместе и рассказывают: «Парень, это было прекрасно! Это была, по крайней мере, еще война. Там лежал один рядом с другим, повсюду!» И если увидеть, как сверкают их глаза, когда они снова вызывают эти кровавые фантомы, то можно почувствовать: Это война, война в чистом виде. Там сидит то, что они называют сегодня милитаризмом, и это сидит глубже, чем звук полковых маршей или опьянение, порхающее в расстрелянном на шелковые лоскуты знамени. Это только потребность крови в праздничном настроении и торжестве.

В этом пункте я соглашаюсь с пацифистом из убеждения: в первую очередь, мы – люди, и это связывает нас. Но именно потому, что мы люди, снова и снова наступает тот момент, когда мы должны нападать друг на друга. Поводы и средства борьбы изменятся, однако сама борьба является данным с самого начала образом жизни, и она всегда останется им.

7. Мужество

Однако мужское мужество – самое превосходное. В божественных искрах кровь несется по артериям, когда человек, звеня оружием, выходит на поле боя в ясном сознании собственной смелости. Под атакующим шагом все ценности мира развеиваются как осенние листья. На таких вершинах личности можно ощутить почтение к самому себе. Да и что могло бы быть более свято, чем сражающийся человек? Бог? Потому что мы должны разбиться об его всевластие как об заостренную пулю? О, всегда самое благородное ощущение посвящало себя слабому, одиночке, который уже окоченевающей рукой размахивал мечом в последнем ударе. Не звучит ли умиление также из нашего смеха, когда животные обороняются от нас, такие маленькие, что мы можем раздавить их пальцем?

Мужество – это ветер, который движет к дальним берегам, ключ ко всем сокровищам, молот, который выковал великие империи, щит, без которого не выдержит культура. Мужество – это использование собственного лица вплоть до самой железной последовательности, нападение идеи на материю, не обращая внимания на то, что может из этого выйти. Мужество это значит позволить прибить себя в одиночку на кресте ради своего дела, мужество это значит, в по-

следней нервной конвульсии с умирающим дыханием еще быть верным мысли, за которой стоял и пал. К черту то время, которое хочет лишить нас мужества и мужчин!

Ведь это чувствует каждый, как бы глух он ни был. У мужества есть что-то непреодолимое, которое в мгновение действия прыгает от сердца к сердцу. От чувства героического никто не может уклониться так легко, если у него нет очень подлого и низкого характера. Конечно, борьбу освящает ее цель, но еще больше сама цель освящается борьбой. Как иначе можно было бы уважать врага? Но только смелый может понять это в полной мере.

Борьба все еще является чем-то святым, божьим судом над двумя идеями. Это лежит в нас защищать наше дело острее и острее, и таким образом борьба является нашим последним разумом и только то, чего мы добились в борьбе, – нашим подлинным владением. Никакой плод не созреет в нас, который не продержался в железных бурях, и даже самое лучшее и самое прекрасное хочет быть сначала добыто в борьбе.

Тот, кто так копает корни для борьбы и почитает подлинное чувство борца, тот почитает его всюду, и у противника тоже. Поэтому примирение после борьбы должно было сначала охватывать фронтовиков. Я пишу как воин; пусть это не подходит к нынешним дням, но почему бы нам, воинам, не попробовать сойтись по нашей линии, линии мужского мужества? Нам тут не может грозить большая неудача, чем политикам, художникам, ученым и священникам. Разве мы не пожимали достаточно часто те руки, которые как раз бросали еще ручные гранаты в нас, когда там позади, в тылу, все еще глубоко запутывались в густой чаще своей ненависти? Разве мы не ставили кресты также и на могилы врагов? Все еще самыми приличными были мы, которые каждый день снова схватывались в кровавой драке. Борьба с самого начала является образом жизни, но ее можно облагородить рыцарственностью. И с самым могущественным выявлением борьбы, войной, дело обстоит так же, как с религией. Человечество молится слишком многим богам, в каждом Боге правда выражается в особенной форме. Настоящее кольцо не пропадало, это демократическая болтовня, до тех пор, пока есть особенности, должны будут быть и различные кольца. И каждого, кто осознанно бежал в жужжащую смерть, вело что-то свое, что-то другое, но у каждого было свое право. Как уважают веру каждого, хотя, возможно, приходится бороться с ним, так нужно уважать также и его мужество.

Воин острее всего выступает за свое дело; мы доказали это, мы, фронтовики земного шара, каждый на своем месте. Мы были поденщиками лучшего време-

ни, мы разбили застывший сосуд мира, чтобы дух стал снова жидким. Мы вычеканили новое лицо земли, пусть даже лишь немногие могут это узнать.

Для многих это будет еще оставаться невидимым под покровом облаков событий: огромная сумма достижений хранит то общее, которое связывает всех нас. Никто не погиб зря.

Так как боец, который поднимается на бой ради своих целей, не может не заметить этого, и это сознание также не обладает ценностью для борьбы, так как она ослабляет его мощь: все же, где-нибудь все цели должны совпасть. Борьба является не только уничтожением, но и мужской формой зачатия, и потому не сражается зря даже тот, кто борется за что-то ошибочное. Враги сегодняшнего и завтрашнего дня: они связаны в появлениях будущего, это их общее произведение. И это приносит пользу: чувствовать себя в кругу той жесткой европейской нравственности, которая над криком и мягкостью масс укрепляет себя все сильнее в своих идеях, той нравственности, которая спрашивает не о том, что должно применяться, а только о цели. Это возвышенный язык силы, который звучит для нас прекраснее и более опьяняюще, чем все раньше, язык, у которого есть свои собственные оценки и своя собственная глубина. И то, что этот язык понимают только немногие, это делает его аристократическим, и определено, что только наилучшие, это значит самые мужественные, смогут говорить на нем.

Но мы жили во время, в котором мужественный был наилучшим, и ничего больше не должно было происходить из этого времени как воспоминание о событиях, при которых человек не стоил ничего, а его дело всё, так что мы все еще можем оглядываться на них с гордостью. Мы жили во время, в котором нужно было иметь мужество и владеть мужеством, это значит, уметь справляться с любой судьбой, это самое прекрасное и самое гордое чувство.

Снова и снова в нахлынувшем вихре атак огромных битв удивлялись увеличению сил, на которое способен человек. В минуты перед штурмом, где для странным образом измененного сознания внешнее уже расплывалось в опьянении, взгляд еще раз скользил над рядом согнувшихся в серых траншеях фигур. Там был мальчик, который снова и снова тербил походное снаряжение, мужчина, который безразлично уставился на глинистые стены, ландскнехт, который докуривал последнюю сигарету. Перед ними всеми поднималась жадная смерть. Им предстояло последнее и через короткое время уже суждено было найти свой конец. В них еще раз сжималось все самое сокровенное, пестрый мир еще раз проносился по мозгу как быстро мчащаяся киноплёнка. Но тут было еще что-то возвышенное, что-то, из-за чего, когда раздавался сигнал к атаке, никто не от-

ставал. Победителями были те, кто взвивались над краем окопов, оттуда и то равномерное спокойствие, с которым они шагали под огнем.

Затем наступало, дозволенное только самым породистым, опьянение собственной смелостью. Не бывает ничего более деятельного, активного, как бег в атаку на полях, над которыми развеивается плащ смерти, где противник является целью. Это жизнь на водопаде. Там нет компромиссов; речь идет обо Всем. Здесь самая высшая ставка, и если выпадает черное, то потеряно все. И, все же, это больше не игра, игру можно повторить, здесь же при промахе все потеряно, и изменить ничего нельзя. Это здесь как раз самое сильное.

Так воины в опьянении битвы нетвердо ступали туда, запуская из лука стрелы в тумане, танцора в неизведанном. Но над этими звенящими покрывалами, которые так часто рвались в огне, висело нечто гораздо большее, чем секундное опьянение. Мужество можно сравнить с танцем. Личность танцора – это форма, – это второстепенное дело, важно только то, что поднимается и опускается под покрывалом его движения. Таким образом, мужество – это также выражение самого глубокого сознания того, что человек охватывает вечные, нерушимые ценности. Как мог бы иначе только один единственный человек осознанно шагать навстречу смерти?

8. Ландскнехты

Мы стали старыми и удобными как старики. Преступлением стало быть большим или иметь больше, чем другие. Для нас, отученных от сильных опьянений, сила и мужчины стали ужасом, масса и равенство называются нашими новыми богами. Если масса не может быть такой, как немногие, то тогда немногие должны, все же, стать такими, как масса. Политика, драма, художник, кафе, лакированный ботинок, плакаты, газета, мораль, Европа завтрашнего дня, мир послезавтрашнего: Гремящая масса. Как тысячеголовая bestия она лежит на дороге, растопчет то, что не может проглотить, завистливая, подобная парвеню, пошлая. Одиночка снова проиграл, разве его рожденные представители не предавали его больше всего? Слишком плотно мы сидим один за другим, измельчающие мельничные жернова – это наши большие города, падающие ручьи, которые как гальку шлифуют нас, делая одинаковыми друг с другом. Жизнь слишком трудна; не живем ли мы призрачной жизнью? Герои слишком жестки; нет ли у нас наших героев с мерцающего экрана? Как красиво бесшумно все скользит там. Сидишь в мягком кресле, и все страны, все приключения плывут через мозг, легко и красиво как сон курильщика опиума.

И человек добр. Как иначе можно было бы так плотно сидеть рядом друг с другом? Каждый так рассказывает о себе. Никто не нападал. Каждый был жертвой нападения. Войну нашпиговали фразами, чтобы сделать ее вкусной. Это до глубины души претило настоящему воину, мужчине ограниченного, но, все же, прямолинейного действия. Наверняка беспощадность никогда не казалась пошлее, чем под этим покровом из лохмотьев, под этой тонкой краской так называемой культуры.

Несомненно, бывали времена, которые были более жестокими. Когда азиатские деспоты, когда Тамерлан вел звенящую тучу своих орд по далеким странам, огонь, лежал перед ними, пустыня – за их спиной. Жителей огромных городов закапывали живьем, или складывали их окровавленные черепа в гигантские пирамиды. С глубокой страстью они грабили, насиловали, сжигали и варили живьем.

Однако, даже эти великие душители приятнее. Они действовали так, как это соответствовало их сущности. Убийство было для них моралью, как для христиан моралью была любовью к ближнему. Они были дикими завоевателями, все же, так же закрыты и совершенны в своем проявлении как элины в своем. Можно чувствовать наслаждение в них как в пестрых хищных зверях, которые со смелыми огнями в глазах проламываются сквозь тропические чащи. Они были совершенны в себе.

Совершенство. Это суть дела. Острое проникновение до граней возможного, оформление данного в собственную форму. Совершенным в этом смысле – с точки зрения фронта – являлся только один, ландскнехт. В нем волны времени сходились без диссонанса, война была самым подлинным его элементом. Он нес войну в своей крови, как несли ее в крови римские легионеры или средневековые ландскнехты. Поэтому он стоял один как твердая фигура на серо-красном фоне, с четкими и уверенными контурами.

Резко, как человек совсем другой расы, выделялся он на фоне обывателей, засунутых в мундиры и с оружием в руках, которые в народных армиях, этом военном проявлении демократии, в конце концов, стали преобладающим типом. Это были торговцы или перчаточники, более или менее «отшлифованы» по солдатски, войну они исполняли как гражданский долг, усердные люди, которые, если это должно было быть, также были и героями. Но для них было нужно одно жизненное условие: порядок. Это во всей остроте было видно при крушении, этом испытании огнем самой дерзкой мужественности. Когда противник бил с обеих сторон, буржуа трепетал между ними как выброшенная из гнезда птица, которая закрывала глаза, так как видела, что ее мир гибнет.

Есть только одна масса, которая не выглядит смешной: армия. Буржуа также сделал армию смешной. Есть только два солдата: наемник и доброволец. Ландскнехт был и тем и другим одновременно. На него как на сына войны также не нападала та ожесточенная обида, которая все больше и больше разлагала тело армий, и выражение которой можно было, в конце концов, прочитать на дощатых перегородках каждого полевого сортира. Он был рожден для войны и нашел в нем то состояние, в котором он только и мог проявить себя во всей полноте.

Все же ландскнехт вовсе не воплощал идеал героя своего времени. Он «не думал ни о чем». Это был скорее сознательный боец, который старался проникнуть в его задание, итак также законченный тип, внешний и внутренний мир которого должны были стоять в гармонии. С общим истощением боевой морали он становился все реже. Спорный вопрос, выражается ли воля к жизни народа яснее в слове борцов, которые стремятся отличить право и несправедливость, или же в здоровой, сильной расе, которая любит борьбу ради борьбы, или, используя слова Гегеля, представляет ли мировой дух себя наиболее полно посредством сознательного или посредством бессознательного инструмента. Во всяком случае, только ландскнехт оставался всегда одинаковым, самим собой, как в его первой битве, так и в последней.

«Тревога! Сегодня ночью в 2 часа полку приказ на погрузку. Во Фландрию!» Усталые лица становились еще бледнее, беседа умолкала, трубки гасли. Где-нибудь, окутанная снами, мерцала деревушка, недостижимый остров блаженства. Опять! И как раз еще избежав ревушей глотки. Сказаться больным, дезертировать! Нет. Спасения нет, флажки развешаны, начинается новая загонная охота. Мать, женская улыбка, тепло! И в полдень покрытый белой скатертью стол. Жить, и пусть даже на самом маленьком участке земли: жить! Или, по крайней мере, спать, находиться в полузабытьи, как животное, и иногда просыпаться довольным.

Ах, так должно быть! Но должно ли быть все же так по-настоящему? Только один сидел в кругу с блестящими глазами и острым лицом. Это был ландскнехт, прирожденный боец.

Да, они еще действительно где-то сидели, старые ландскнехты. Когда сумерки с мертвых полей стекали в траншеи, скудный свет из полуразвалившегося блиндажа мерцал на забытом богом участке фронта. Если проспали целый день в лоне земли и с просыпающимися инстинктами как ночное животное извивались по заросшим сапам к боевой позиции, то наверняка заходили к ним, чтобы освежиться в их беспечном шуме. «Бодрые, как всегда», звучал один из лозун-

гов, которые они любили слышать, и также казалось, что когда из всего этого мертвого и немного отчаяния прибывали в ее круг, как если бы к ним туда сбегала беспечная жизнь. Наконец, находились те, которые в этом ужасном ландшафте чувствовали себя как дома.

Окружение их было самым мужским. Грубые дощатые перегородки, опирающиеся на балки и стойки с грубой корой, где висели винтовки, скамьи и массивный стол, бутылка с воткнутой свечой. Так могли проживать образом суровые трапперы в своих срубах или капитаны пиратских кораблей в их каютах. Так, пожалуй, растрчивалась замечательная стихийная сила в тавернах ваганта Вийона, так в Голове дикого кабана на Истчип. Там они сидели в узком кругу, отчаянный выводок, обветренный и изношенный, с лицами как отточенные лезвия, полные решимости, породы и энергии. Их язык был краток, полон метких слов, рубленый и разорванный как очереди их пулеметов, со словами четкими и полными земной силы. Всюду, где собираются мужчины в их первоначальном виде, возникают такие языки. Боже мой, насколько, все же, эти парни превосходили тех людей, которые в Женеве и Цюрихе писали возмущенные статьи о войне и утверждали позже, что были близки к настоящему биению пульса времени!

Это было странно: где бы они ни были вместе, шнапс не отсутствовал никогда. Это было опьянение, которое подходило им, оно было сжато как взрыв, коротко и жестоко как удар обухом топора. Там имело значение только мгновение, смерть стояла у стены как незамеченный лакей. Если опьянение расплавляло угловатую действительность в яркие цвета, неудержимое чувство силы просыпалось в них, какое-то смелое наследие вспыхивало в крови, какой-то крестноносец, рыцарь-разбойник, норманн или участник крестьянского восстания Башмака мог в нем возрождаться. Когда путаница безрассудно смелых голосов становилась все более дикой и обломки с шумом падали со стен, то жизнь ценилась не больше бутылки вина, хорошо было напиться ее и стрелять по следующей стене. Естественные силы, слепые как шторм и волна, угрожали разорвать артерии и сгореть в опьянении, чтобы утонуть в бессознательном.

Часто это беспокойство заставляло их темными ночами перелезть через проволоку. В них, которые прорастили на зубцах своей жизни пестрое знамя опьянения, скрывалось какое-то своеобразно дикое упоение также ставить на карту эту жизнь. Когда ветер пел в проволочных ограждениях и шумел над скудными пучками травы, когда странные тени скользили в тумане, тогда ужас нейтральной полосы проникал в них со всех сторон, так сильно, что даже грудь этих самых смелых людей поднималась и опускалась со свистящим пульсированием. Неизмеримо вырастало в них чувство уединенности, когда перед ними и за ними

возвышались пограничные валы народов как черные, угрожающие ленты ночи. Желание охотника и страх дичи смешивались в их крови авантюристов и напрягали их органы чувств до животной остроты. Было не хорошо окапываться перед траншеями, когда они двигались в ночи. Иногда, когда все часовые стояли уже в полусне, ряд трещащих ударов раздавался в пустоши перед ними, красноватый блеск сверкал, и крик скользил резко, долго и легко за пространство. Тут каждый знал – как знают что-то во сне, хотя никогда не узнали это – что этот крик, который заставлял кровь в жилах заоченеть, мог быть только последним криком. Все подскакивали, взволнованно и проснувшись, как в одиноких деревнях в джунглях все просыпается, когда хижина содрогается от воя жадного хищника. Тогда неистовство гремели винтовки, осветительные ракеты взлетали и падали неумолимо. Это были короткие, ужасные поминки, в то время как пустынный участок местности, пустой и застывший как злобная кулиса, висел в белом свете.

Когда ужас стихал, то ландскнехты выползали из черной глубокой тени воронки и подкрадывались назад в свои траншеи. Поспешно они отвечали на вопросы солдат и расставались перед траверсой. Если луна в этот момент вырывалась из-за облаков, то они пристально рассматривали друг друга с дрожью: их лица были настолько бескровными и худыми, что в бледном свете они блестели как кости. Долго на их топчанах от них убегал сон, их руки сильно дрожали. Так дрожит игрок, когда на рассвете он шагает по пустым улицам, в то время как еще черный и красный цвета карт пляшут перед его глазами.

Что могло снова и снова гнать их в ночную пустыню? Приключение? Наслаждение страхом? Или они были оборотнями, людьми, которые превращались в животных, чтобы неистово мчаться с воем по покинутым полям и ложиться на перекрестках в засаду?

Иногда даже казалось, что они еще не нашли удовлетворения в процессе охоты, как если бы они сами должны были поставить на вершины ужаса еще свой козырь. Так иногда нас поражал ужасный юмор, который в стихах и рисунках поселился на каменных стенах опустошенных деревень.

Однажды, светлой сентябрьской ночью, мы двигались навстречу дальнему сиянию битвы. Тупо и молчаливо плыли массы по пыльной дороге, тянущейся в сторону раскаленного горизонта. Все чувства утихли, оглушенные гигантской силой гремящего все ближе огня. Но посреди потока один, привязавший себе к каске пару больших бычьих рогов, равнодушно скакал как отправляющийся на бой германский бог.

В другой раз, когда под самым мощным обстрелом обрушивался городок Комбль, залитый градом стали и камней, мы увидели двух человек, замаскированных женской одеждой, с красными зонтиками от солнца, бегущих вокруг руин. Эти люди были той же самой природы, что и ударная группа, которая захватила траншею противника, закидав ее пустыми винными бутылками, как тот шотландский штурмовой отряд, который для атаки играл в футбол напротив вражеских позиций, или как немецкий лейтенант, о котором на фронте рассказывали, что он нашел способ разрывать гранату с длинной ручкой, держа ее как факел над своей головой, причем ни один ее осколок его не задевал.

Пусть кто-то захочет перекреститься при таких примерах божественной дерзости; но мне не хотелось бы обходиться без них. Как раз в те часы, когда чудовищная мощь вещей угрожала своими ударами сделать душу мягкой и податливой, находились мужчины, которые небрежно танцевали над этим прочь, как над пустотой. И та единственная идея, которая подходит для мужчин, что материя – это ничто, а дух все, та идея, на которой только основывается величие человека, преувеличивалась ими до парадоксов. Там чувствовалось, что это учащение поразительных эффектов, эти ревущие стальные грозы, как бы жадно они ни вздымались вверх, все же, были только механизмом, только театральными кулисами, приобретающими свое значение только благодаря игре, которую на их фоне играл человек.

Очень глубокое значение есть в том, что как раз самая сильная жизнь жертвует собой наиболее послушно. Лучше погибнуть как рассыпавшийся на части метеор, чем угаснуть с дрожью. Кровь ландскнехтов всегда вспенивалась под лопастями винтов жизни, не только, когда железное опьянение боя несло их от волны к волне. Они должны были выражать жизнь и формировать, дико и сильно, как она беспрерывно пробивалось им из их глубины. Если мужской добродетелью для них были только опьянение и огонь, то борьба, вино и любовь раскаляли их до белого каления, до дикого желания смерти. Каждый час требовал содержания, пестро и горячо проносились дни между их рук как жемчужины раскаленных четок, которым они должны были молиться, чтобы воплотиться. Из одного источника вспыхивало им все бытие, это могло отражаться в полном стакане, в неистовых глазах противника или в мягкой улыбке девушки. В опьянении просыпалось желание победить, на вершинах битвы опьянение, в руках любви у них сплавлялось и то, и другое.

Как другие в искусстве или в правде, они в бою стремились к воплощению. Наши дороги различны, у каждого в груди есть свой компас. Для каждого жизнь – это что-то иное, для одних крик петуха ясным утром, для других поле, спящее полуденным сном, для третьих светлое мерцание в вечернем тумане.

Для ландскнехта это была грозовая туча над ночными далями, напряжение, которое лежит над пропастью.

9. Контраст

Я просыпаюсь. Где я? Ах, так! Действительно, я даже лежу в кровати, в превосходной постели. Они знают в этом толк, французы. Они вообще люди, умеющие жить. Собственно, они действительно приятные люди. Я вовсе не ненавижу их.

Однако мне лучше бы никому об этом не говорить. За такие страстные чувства они обижаются еще даже на Старого Фрица. Они даже не неправы со своей точки зрения. Если уже ведут войну, нужно делать это во всем. Все же также среди нас, фронтовиков, есть люди, которые врываются во французские окопы, со сталью и взрывчаткой в руке, и в захваченном блиндаже читают Рабле, Мольера и Бодлера.

Еще одно. Чем мы были бы без этого дерзкого и бесцеремонного соседа, который каждые пятьдесят лет счищает ржавчину с наших клинков? Европа как равнина, зеленая и заполненная пастбищами, и так много добродушных животных на ней, чем кто-нибудь мог бы пожрать: до тех пор пока германская и галльская кровь циркулирует по сердцам и мозгам, эта чаша нас минует. И тем более, идти на бой, с осознанием необходимости и ценности противника на заднем плане, это означает рыцарское наслаждение особенного рода. Однако высочайшая культура борьбы давно ушла в прошлое, также в игре на жизнь и смерть масса может участвовать, а она не оставила дома свои инстинкты. Как дошел английский старший лейтенант, которого мы недавно взяли в плен, до того, чтобы протянуть мне свои часы и портсигар? Он дрался как джентльмен и торговался как кондитер.

Ах, это становится все тяжелее, все жаднее война щупальцами полипа хватается все чистые чувства, чтобы откармливаться на этом в своей темной пещере. Людей убивают, но это ничего, им же все равно когда-то однажды придется умереть, но нельзя отрицать их. Нет, нельзя отрицать их. Однако для нас самое ужасное не то, что они хотят убивать нас, но то, что они беспрерывно поливают нас своей ненавистью, что они никогда не называют нас иначе, чем немчура, гунны, варвары. Это озлобляет. Это верно, что у каждого народа есть свой дурной тип, и как раз его соседи обычно рассматривают в качестве нормы. Мы и сами не лучше, каждый англичанин для нас это Шейлок, каждый француз – маркиз де Сад. Ну да, через сто лет люди будут смеяться, вероятно, над этим, если, конечно, именно тогда не придется снова вести войну. Для любого рас-

смотрения нужна именно дистанция. Дистанция в пространстве, во времени и в духе.

Во всяком случае, кровать действительно превосходна. Скоро как раньше, когда на каникулы приезжал домой и спал до начала любимого дня, по-настоящему свежо и без забот. Потом вскакивал, пил кофе в саду и отправлялся с братом в леса, свободен, как перелетная птица, и с кучей больших планов в голове. Однажды были также маневры. Как резко звучала медь труб над широкими полями, приманка, к которой прислушивались, затаив дыхание, в то время как странная дрожь охватывала тело мальчишек. Это была мужественность, которая звала нас там сзади, знамя, бьющий копытами конь, и клинок, который выхватывали из ножен. Это было движение рыцаря на рассвете и алая кровь, брызжущая из горячей раны. Это была борьба!

Ах да, если бы мы знали все это раньше. Прекрасное рыцарство, это ползание между грязью и разложением. Всего несколько дней назад я тащил застреленного брата под огнем, его шпагу я давно отослал домой. Целесообразнее для приветствия бросать пакет динамита перед ногами, чем элегантно скрещивать клинки.

Снаружи, должно быть, прекрасная погода. Осеннее солнце через занавески разбрасывает позднее золото в чистых монетах. Начищенный паркет, розовые обои, часы с маятником, мраморный камин, все блестит настолько изящно, что от удовлетворения нужно валяться на подушках. Как иногда, все же, все приносит радость! Теперь широкое, дрожащее солнечное пятно падает как раз на картину в тонкой золотой рамке, висящей напротив меня. Ватто! Цвета сверкают тонко и легко как эмаль крыла бабочки, как воздушный, в нежной дымке станцованный менуэт. Да, есть ли все же еще что-нибудь? Есть ли это еще на самом деле?

И, однако, вчера сидели с двумя другими в яме, перед которой вздувался брезент на мокром ветру. Безмолвно и дрожа от холода, покусывая трубку между зубов, прислушиваясь к равномерному вою и треску железных болванок. Бах! Бах!! Бах!!! «Ты смотри, они все приближаются. Не уйти ли нам все-таки лучше вон туда вправо?» «А, да ладно, так или иначе крышка. У тебя еще найдется немного табаку? Это становится все сильнее. Будь уверен, они атакуют еще сегодня».

Да, еще вчера я, окаменев и нервно, часами пристально смотрел на растрескавшуюся стену глины напротив. У меня она еще и сейчас четко перед глазами, эта коричневая стена, с черными кремнями и кусками мела в ней, внизу уже

расплавшаяся в каше, из которой возвышались патронные гильзы и ржавые головки ручных гранат. Там еще лежал и труп, однако, можно было видеть только одну его ногу. Он, должно быть, уже давно лежал так. Нога больше не могла держать тяжелый сапог и отвалилась на лодыжке. Очень отчетливо можно было видеть кость, которая облупилась из коричневого, пригорелого мяса. Затем были грубые связанные кальсоны и серые брюки, которые от дождя снова наполнились стекающей вниз глиной.

Собственно, так нужно было бы лежать уже долго. С черным черепом негра, с которого дождь вырвал волосы пучками, и маленькими, высохшими рыбьими глазами в глубоких глазницах. Где-нибудь в поле, растерзанный воронами, в засыпанном блиндаже – вонючими крысами или на нейтральной полосе – неутомимыми роями пуль.

Это все всегда было достаточно близко. Вчера еще. Каждый день, которым я еще дышу, – это подарок, большой, божественный, незаслуженный подарок, которым следует наслаждаться длинными, хмельными глотками как превосходным вином.

Я вскакиваю и помещаю голову под воду. Из полотенца, которым я вытираюсь, истекает очень нежный аромат, как-то напоминающий о руках прекрасных, ухоженных женщин. Надевание рубашки – это торжественное действие, коронация моего нового олицетворения. Как белое, шелестящее полотно гладит тело, так успокоительно и возбуждающе одновременно. Насколько богата, все же, жизнь изящными вещами, наслаждениями, которые мы только теперь научились ценить. Мы обязаны этой войне, этой потребностью окунать каждое волокно нашего существа в жизнь, чтобы понять ее во всем ее великолепии. Для этого нужно знать разложение, так как только тот, кто знает ночь, умеет ценить свет.

Снаружи на улице я спрашиваю одного штатского о бассейне. Мне доставляет удовольствие говорить по-французски. При этом у меня такое чувство, как будто меня, все же, что-то связывает со страной, которой я наносу раны.

В бассейне великолепно. Солнце сквозь стеклянную крышу бросает дрожащие завитки на зеленую кафельную облицовку. Я с усердием скольжу по воде. От трамплина в мою сторону смеются несколько голых фигур. Мои товарищи уже здесь; я вовсе не узнал их сначала. Когда всегда видишь их, покрытыми пересохшей грязью, склонившимися и пробирающимися по траншеям, то удивляешься их тугим, стройным телам, мышцы которых играют под влажным блеском как жидкий мрамор. Какие они, все же, прекрасные парни! Почти на всех красные следы шрамов, которые выжгла у них в плоти разрывающаяся в бою сталь.

Когда они кидаются в воду сверху как вибрирующие стрелы, чувствуешь инстинктивно: они обладают мужеством.

От бассейна я неторопливо прогуливаюсь к музею, который лежит совсем близко. Свежий осенний воздух делает влажное лицо холодным и гладким, глаза блестящими. В залах с картинами один голландский художник висит рядом с другим. Правильно, Фландрия ведь очень близко. Эти рыбные базары, деревенские кабачки, крестьянские танцы дышат уютом, желанием и уютным наслаждением. Там кистью художника водила текущая жизнь. Сегодня мне нужно тепло; для Гойи я ничего не мог бы чувствовать. Также коллекция японских миниатюр стоит там под стеклом, изящные шедевры ручной работы, резьба по эбеновому дереву, нефриту и слоновой кости, фигурки из черноватой меди, украшенные золотом и серебром. Я долго рассматриваю завитое щупальце каракатицы из желтоватой слоновой кости с сотнями более темных присосок, на котором сидит крохотная металлически-зеленая муха. Беглый взгляд искоса во время прогулки по морскому берегу должно было вызвать эту идею. Также там есть арбузы величиной с грецкий орех, в которых выведено каждое отдельное семечко, маленькие черепахи с орнаментируемым панцирем спины и обезьянка, которая бьет в барабан. Все это настолько совершенно, что если однажды увидели это, то нельзя себе даже представить, что можно было бы сделать лучше, и это пробуждает ту самую чистую радость, с которой рассматривающий полностью окунается в эти образы.

Во второй половине дня я снова иду в город, наполняющийся просыпающейся суматохой. С заостренным чутьем жителя большого города я прохожу суету, в то время как мозг легко и точно перемалывает изобилие меняющихся картин. Витрины, книжные магазины, мелькающие трамваи и автомобили, немецкие, французские, фламандские обрывки фраз, женщины, вопреки разделяющим народы валам все еще окруженные влияниями города Парижа; все это наталкивается и объединяется в сияющую, тысячерукую картину жизни. И этот поток самых различных отношений с бытием опрокидывает свои волны навстречу мне тем сильнее, что я всего сутки назад был еще совсем первобытным человеком, живущим в пещерах и борющимся только за свою жизнь. Тут я чувствую, что существование – это опьянение и жизнь, дикая, замечательная, горячая жизнь, пылкая молитва. Я должен выразиться, выразить любой ценой, чтобы я, содрогаясь, осознал: Я живу, я еще живу. Я погружаю свои взгляды в глаза проходящих мимо девушек, бегло и убедительно и радуюсь, если они улыбаются. Я захожу в магазин и покупаю себе сигареты, самые лучшие, само собой разумеется. Я останавливаюсь перед каждой витриной, рассматривая белье, изящные ювелирные изделия и книги. Я ем в маленькой таверне, и ничего нельзя упустить, также мокко и графин ликера, наконец.

Тогда я снова шагаю по улицам и площадям, которые плавают теперь в огнях. Постепенно я захожу в пригород, кварталы которого возвышаются вечером холодно и мрачно. Только с далекими промежутками тлеют фонари. Я останавливаюсь у перил моста и пристально смотрю в черное зеркало канала. Я стал печален, все одиноко и неизвестно. Ветер отрывает целые ветки с листьями с осенних деревьев, проносит их с шелестом мимо меня и бросает их в воду. Баржа неслышно скользит под мостом как длинный, черный гроб.

Как все это враждебно. Вещи качаются в тумане, они то как дым, то как нереальное, призрачное дрожание, то они насмешливо проявляются в холодной жесткости. Так дрожит человек, когда он закован в каком-то чужом гостиничном номере в неизвестном городе или при чтении меланхолически близкого к безумию русского поэта. Прислонившись к железным перилам, перекинутыми над водой, о которой я не знаю, откуда и куда она течет, на мою душу нападает та грусть, которая иногда поднимается в нас как свинцовый туман и делает для нас вещи пустыми и бесцветными, лишая их существа. Пространство соскальзывает в холодную бесконечность, и я чувствую себя крохотным атомом, которого неумолимо затягивают в свой вихрь коварные силы. Я так устал, так утомлен, что хотел бы оказаться мертвым. Ландскнехт, странствующий рыцарь, который сломал свое копье, и его миражи расплываются в насмешливом смехе. Я чувствую с несомненной ясностью, что какой-то чужой смысл, страшное значение подкарауливает за всем этим процессом. Я уже иногда знал это на дне безумных опьянений или в душащих снах, я только снова забыл об этом в бушующей жизни. Обычно над такими вещами смеются, если со свежими силами и со здоровьем шагают в свете; но когда они сваливаются на нас, то все познание раскалывается мгновенно как стекло и как сон одной ночи. Каждый испытал что-то похожее, но он забывает об этом, так как он должен об этом забывать.

Там звучит легкий шаг, развеянный наполовину ветром. Фигурка шагает мимо и задевает меня беглым взглядом. Я должен обратиться к ней, как я должен был бы обратиться к человеку, который встретился бы мне на одиноком острове. Она, похоже, едва ли удивилась этому, и кем она и могла бы быть, наконец, раз идет мимо здесь в этом пригороде и в это время? Вероятно, уличная девчонка, но ландскнехт не переборчив, и я ощущаю непреодолимую потребность в обществе, даже если бы оно было самым наихудшим.

Теперь я узнаю также имя пригорода. Миль-Во называется он. Куда течет канал, она сама не знает, вероятно, в Дель. Это немного успокаивает меня. Она рассказывает легко и невзыскательно; я жадно слушаю. О прошлом, перед войной, когда жили счастливее, чем теперь. Когда еще было вино и белый хлеб, и когда на полях перед воротами с музыкой и танцами отмечали веселые празд-

ники. Ее муж – рабочий, который давно воюет на другой стороне, по ту сторону фронта. Где он может быть? Вероятно, он уже давно лежит в одном из больших кладбищ, которые обрамляют фронты. Вероятно, он также именно сейчас идет в Париже к какой-то другой? Или, может быть, он сидит в засаде в траншее между темными валами посреди сверкающей от разрывов снарядов ночи. Вероятно, мы скоро будем лежать с ним напротив друг друга, очень близко, и не догадываясь об этом. Только наши пули будут свистеть мимо наших голов.

«Но чего ты хочешь, что я должна делать? Месяцы превратились в годы, ты никогда не получишь весточки из-за границы, и эта проклятая война никогда закончится. Ты не можешь всегда сидеть только в квартире. Война – это большая беда для меня, для тебя и для всего мира».

Ее квартира скудна, кухня, каморка, еловая мебель. На стенах олеографии и свадебная фотография. Она в фате, а он во фраке, у обоих руки скрещены и неловко положены пригородным фотографом на живот. Мы беседуем тихо и непрерывно, нам обоим нравится сидеть перед камином, в котором горит охапка хвороста и быть в обществе. Человек очень одинок в этом большом ландшафте, над которым дует дыхание войны. Через месяц этот город может уже быть кучей мусора, и завтра уже это сердце и этот мозг, которые так тесно хотели бы связывать себя с жизнью, больше не будут в состоянии чувствовать пульс крови. Если утром блестит солнце, мы мужественны и чувствуем блеск жизни в битве, но вечером у нас есть желание вместе сидеть тихо и мирно перед горячим очагом.

Когда мы расстаемся у входной двери, она говорит, пока влажный ветер дует в прихожей: «Je ne t'oublierai pas». Я тебя не забуду. Это звучит по-настоящему. Я возвращаюсь по мосту в город, руки в карманах шинели, голова опущена. При каждом шаге дребезжат шпоры.

На Рю-де-Лилль один товарищ встречает меня.

«Дружище, где тебя носило? Нас отправляют завтра утром».

«Отправляют? Нет!? Ведь мы же только что оттуда!»

«Старое дело. Пошли, я знаю маленькую закусочную, там можно красиво размахивать бокалами. Там есть старый портвейн, дубовые кресла и фламандские официантки».

Он хватает меня, и мы идем в закусочную.

10. Огонь

Хотя еще смеркается, наши фигуры очень отчетливо выделяются на фоне меловых стен траншеи, которая как белая змея проскальзывает ночью. Мы шагаем молча, осторожно по очереди, солдат за солдатом, каждый опутанный сетью своих мыслей. Через час мы, заброшенная армией вперед кучка, будем в глубине вражеских позиций, которые так широко растянулись перед нашим взглядом, далеко и таинственно как чужое, угрожающее бедой побережье.

Вокруг нас большая, серая скука. Земляные валы, колосниковые решетки, указатели, траншейные кабели холодно, безжизненно и враждебно глядят на нас из просачивающегося рассвета, объекты, к которым мы потеряли всякую связь. Мы еще воспринимаем вещи, но они ничего больше не говорят нам, так как всегда прерывисто, мимолетно игра волн наших мыслей танцует в мозге.

Странно, такие мгновения всегда доставляют снова и снова одно и то же настроение. Нашу первую битву мы выдержали давно, сотни и сотни раз стояли в огне, мы избранная ударная группа знаменитого штурмового полка и, все же, сегодня утром мы все так тихи и задумчивы.

И, тем не менее, мы блестяще подготовлены. Все три недели мы тренировались в тылу на воссозданной на основе аэрофотоснимков насыпи, также каждое утро примерно в час рассвета, с боевыми ручными гранатами, разрывными зарядами и зажигательными трубками. Мы обдумали все, предвидели, обсудили друг с другом, выучили французские оклики и упражнялись с их средствами ближнего боя; короче, это предприятие знакомо нам как беспрерывно вымуштрованный ружейный прием, который выполняется при соответствующей команде с естественной точностью.

Мы знакомы между собой уже давно как дерзкие смельчаки, встречались в некоторые горячие деньки в местах затянутых дымом полей сражения, в которых дух часа снова и снова собирает одних и тех же. Мы знаем, что мы воплощаем собой элиту энергичной мужественности, и гордимся этим сознанием. Еще вчера мы по старому обычаю сидели вместе за последним стаканчиком и чувствовали, что воля к борьбе, то своеобразное желание снова и снова выйти из строя, когда нужны добровольцы, также и на этот раз со старой энергией бросит нас навстречу опасности. Да, если бы только пришло время; мы люди той породы, которая растет с мгновением.

Все же, это неприятное чувство, этот непобедимый озноб изнутри наружу, эти полные предчувствий мысли, которые бушуют на нашем горизонте как рас-

плавчатые, растрепанные обрывки облаков мы не можем прогнать от себя; не можем и тогда, когда пьем коньяк очень длинными глотками. Это сильнее нас. Туман, который лежит в нас и в такие часы над беспокойными водоемами души выводит наружу свою загадочную сущность. Не страх – его мы можем отпугнуть в его пещеру, если мы резко и насмешливо взглянем ему в бледное лицо – а неизвестное царство, в котором расплавляются границы нашего ощущения. Там замечаешь только, как мало разбираешься в самом себе. Дремлющее глубоко на дне, заглушенное неутомимыми работами за день, оно поднимается и расплывается, прежде чем примет форму, в глухую печаль.

Чем поможет закаляться три недели для этого часа, пока не поверишь самому себе жестко и без слабых мест? Чем поможет, что говоришь самому себе: «Смерть? Ну, и что дальше? Переход, которого, все же, никак нельзя избежать». Это все ничем не поможет, так как внезапно из думающего становишься чувствующим существом, пешкой в игре фантомов, против которых бессильно также оружие самого острого разума. Это факторы, которые мы обычно отрицаем, так как не можем считаться с ними. Но в мгновение переживания все отрицание тщетно, тогда это неизвестное обладает более высокой и более убедительной действительностью, чем все привычные проявления в полуденном свете.

Мы достигли самой передней линии и делаем последние приготовления. Мы прилежны и точны, так как мы чувствуем стремление занять себя, наполнить время, чтобы убежать от самих себя. Время, которое уже так бесконечно мучило нас в траншее, понятие, которое охватывает все мыслимые мучения, цепь, которую разорвет только смерть. Вероятно, уже через минуты. Я знаю, осознанно чувствуешь, как вытекающая жизнь проносится с шумом в море вечности; я уже иногда стоял у грани. Медленное, глубокое погружение, со звоном в ушах, мирным и знакомым как звон родных пасхальных колоколов. Не нужно было размышлять так и снова и снова пытаться разгадать загадки, которые, все же, никогда не решишь. Ведь все приходит в свое время. Голову выше, пусть ветер разгонит мысли. Умереть достойно, мы умеем это, идти навстречу угрожающей темноте со смелостью бойца и решительной жизненной силой. Не дать поколебать себя, улыбаться до самого конца, и пусть даже улыбка будет только маской самой себя: это тоже уже кое-что. Больше, чем преодолевая, человек не может умирать. Поэтому бессмертные боги должны завидовать ему самому.

Мы хорошо снаряжены для нашего выхода, увешаны оружием, взрывчаткой, световыми и сигнальными устройствами, настоящий боевой штосрупп, способный удовлетворить наивысшим требованиям современного боя. Способный не только благодаря своей радостной безрассудной смелости и жестокой силе.

Если посмотреть на этих людей стоящих так в сумерках, тонких, худых и преимущественно почти еще детей, мало что можно было бы от них ожидать. Но их лица, которые лежат в тени касок, остры, смелы и умны. Я знаю, они не медлят перед опасностью ни мгновения; они бросаются на нее, быстро, жилисто и умело. Они объединяют горячее мужество с холодным разумом, они являются людьми, которые в вихре уничтожения уверенной рукой устраняют тяжелое заедание затвора, бросают врагу назад дымящуюся гранату, читают по глазам его намерения в борьбе не на жизнь, а на смерть. Это стальные типы, орлиный взгляд которых исследует облака прямо над жужжащими пропеллерами, которые протискиваются в сплетение рева танковых двигателей, решаются на поездку в ад над ревущими полями воронок, которые целыми днями, с верной смертью перед собой, сидят в окруженных, заваленных со всех сторон горами трупов пулеметных ячейках наполовину изнемогая за раскаленными пулеметами. Они – наилучшие современного поля боя, пропитанные решительным духом борьбы, сильное желание которых разряжается в сжатом, целеустремленном ударе энергии.

Когда я наблюдаю, как они бесшумно режут проходы в проволочных заграждениях, выкапывают штурмовые ступеньки, сверяют люминесцентные часы, по звездам определяют направление на север, тогда меня охватывает понимание: это новый человек, штурмовой сапер, элита Средней Европы. Новая раса, полная ума, силы и воли. То, что здесь в борьбе обнаруживается как явление, завтра станет осью, вокруг которой жизнь завертится быстрее и быстрее. Не всегда как здесь дорогу нужно будет прокладывать через воронки, огонь и сталь, но атакующий шаг шторма, с которым здесь исполняется процесс, привычный к железу темп, это останется таким же. Раскаленная заря заката тонущего времени – это одновременно и утренняя заря рассвета, в которой вооружаются для новой, более жесткой борьбы. Далеко позади огромные города, армии машин, державы, внутренние связи которых разорваны бурями, ждут нового человека, более смелого, привычного к борьбе, безжалостного по отношению к самому себе и к другим. Эта война – это не конец, а начало силы. Она – кузница, в который мир будет разбит в новые границы и новые общности. Новые формы хотят наполниться кровью, и власть хочет, чтобы ее схватили железной рукой. Война – это большая школа, и новый человек будет человеком нашей породы.

Да, теперь она в своей стихии, моя старая ударная группа. Действие, хватание кулака разорвало все туманы. Уже звучит тихое слово шутки над траверсой. Пусть это и безвкусно спрашивать: «Ну, толстяк, ты уже полностью набрал свой боевой вес?», между тем, все же – они смеются, и сам толстяк больше всего. Только не разжалобиться. Сейчас начнется праздник, и мы – его князя.

Все же, это беда. Если артподготовка не подействует, если вон там останется исправным хотя бы один пулемет, то этих великолепных людей в атаке через нейтральную полосу перестреляют как стадо оленей. Это война. Наилучшее и самое ценное, наивысшее олицетворение жизни как раз достаточно хорошо, чтобы бросить его в ее ненасытную глотку. Пулемет, скольжение его ленты на протяжении только секунды – и эти двадцать пять мужчин, с которыми можно было бы окультурить далекий остров, висят на проволоке как разорванные свертки, чтобы медленно истлеть. Это студенты, прапорщики со старыми, гордыми именами, слесари-механики, наследники плодovitых дворов, развязные жители больших городов, гимназисты, из глаз которых еще не совсем улетучился сон Спящей красавицы какого-либо старинного остатка. Крестьянские сыновья, выросшие под одинокими соломенными крышами Вестфалии или Люнебургской пустоши, окруженных шелестом древних дубов, которые их предки сажали вокруг окружающей стены из валунов. Они настолько верны, что, не задумываясь, умерли бы за своего командира.

У левого соседнего полка бушует огненный шторм. Это ложный маневр, чтобы запутать вражескую артиллерию и распылить ее огонь. Сейчас наступит наше время. Теперь нужно собраться. Конечно, нас, вероятно, жаль. Возможно, мы жертвуем собой тоже для чего-то несущественного. Но никто не может лишить нас нашей ценности. Важнее всего не то, за что мы боремся, а то, как мы боремся. Навстречу цели, пока мы не победим или не погибнем. Боевой дух, риск собственной жизнью, пусть даже для самой маленькой идеи, весят больше, чем все размышления о добре и зле. Это придает даже рыцарю печального образа его внушающий уважение ореол святости. Мы хотим показать, что есть в нас, тогда мы, когда погибнем, действительно проявили себя во всей полноте.

Теперь буря тоже бросается вниз на нас. Артиллерия нашей дивизии стреляет превосходно, первое попадание было точным до секунды. Все плотнее и более многоголосо становится вой железных болванок, чтобы утонуть там в постоянно разбухающем потоке злых, бурных, оглушительных шумов. Мины тянут свои подобные нитям жемчуга сверкающие дуги над нами и разбиваются в вулканических взрывах. Белизна осветительных ракет затопляет ярким светом блестящее облако дыма, газов и пыли, которое бурлит как кипящее озеро над равниной. Пестрые ракеты висят над окопами, разрываясь на звездочки, и внезапно гаснут как цветные сигналы огромной сортировочной станции. Все пулеметы второй и третьей линии работают изо всех сил. Шипение их бесчисленных, друг с другом сливающихся выстрелов – это тусклый задний план, который наполняет крохотные промежутки шума тяжелого орудия.

Теперь просыпается также французская артиллерия. Сначала группа легких батарей, они засыпают нашу траншею быстрыми сериями стальных ударов кулака, из блестящих шрапнельных снарядов свинцовые пули сыплются на нас как из лейки. Тогда следуют тяжелые калибры, которые бросаются с растущим шипением как огромные хищники с самого верха на нас и проглатывают длинные участки траншеи с огнем и черным чадом. Бесперывно гремит град комьев земли, обломков дерева и маленьких осколков по нашим каскам, которые отражают совсем рядом неутомимый танец молний. Мощные трехногие мины раздробляют землю, утрамбовывая ее как ударами пестика в ступке; бутылочные мины, которые как кружащиеся колбасы проносятся сквозь дым и зарю, тут же рядами взрываются в огне первых. Трассирующие пули, гонящиеся друг за другом цепями раскаленных искр, тысячами выплевываются в воздух, чтобы отогнать раннего летчика, который хочет разведать, вероятно, позиции орудий заградительного огня.

Но мы стоим, плотно сжавшись, у лестниц для выхода. В первые минуты мы прятались в норах и подземных ходах. Только на короткое время, потому что в кузнице битв нас закалили до равнодушной и твердой как огонь природы. Мы также убежденные фаталисты и верим, что если в кого-то суждено попасть, то в него попадет, будь это даже неразорвавшийся снаряд на дне десятиметрового подземного убежища. Промежуток между приближением снаряда и взрывом – наихудшее; там дрожат даже нервы самого старого воина. Слишком много ужасных картин, слишком большое количество крови и рыдания предвещали собой эти вибрирующие свистящие звуки. Чем дольше ты участвуешь в этом, тем страшнее кинолента воспоминаний, которая в эту секунду прокручивается в мозгу.

Тогда наступает момент, где огненный вихрь всасывает отдельные восприятия, чувства становятся жертвой столкновения картин, воспоминаний, чувства «я», чтобы также страх и надежда развеивались как беглый дым. Тогда разбивается слабый и падает к земле как пустая патронная гильза, так как он потерял свой последний инстинкт, страх. Никакая просьба, никакая команда и угроза не поднимают его снова.

Но сильный стоит с окаменевшим лицом, опьяненный триумфатор материи, посреди грозы. Он нашел равновесие на измененном уровне процесса, пусть даже мир стоит на голове, у мужественного сердца есть его собственный центр тяжести.

Зеленая ракета поднимается и с длинным спускающимся книзу хвостом зависает над нами. Сигнал! Мы бросаемся наружу и несемся, плотное, темное облако в неизвестное.

11. Между собой

Уже бесконечно я стою в траншее. Так бесконечно, что одно чувство за другим погасло во мне, и я стал куском природы, расплывающимся в море ночи. Только иногда мысль зажигает цепь огней в мозге и на короткое время снова делает меня сознательным существом.

Я прислоняюсь в углу траверсы и смотрю вслед кораблям облаков, медленно проплывающих в лунном свете. Как часто я уже стоял так! Точно так – правая рука на кобуре и голова недовольно откинута назад. Многие тома наполнили бы мысли, которые бежали на одиноком ночном дежурстве через мельницы мозга. То, что как раз самая голодная фантазия бежит наиболее сильно! Есть ли, пожалуй, еще люди, шаги которых стучат теперь по асфальту больших городов? Бары с авантюрно наливаемыми слоями ликерами? Были ли времена, когда можно было уехать на пароходе, далеко? Очень далеко? Есть ли еще острова в южных морях, на которые никогда не вступал европеец? Счастливые острова!

Как часто я уже стоял так на месте вроде этого! Короткий участок траншеи лежит передо мной, крохотная часть огромного фронта. И, все же, эта черная дыра входа в подземный ход, этот пост часового, блок, пропитанный темнотой и тайной, эти три или четыре проволоки, которые пересекаются наверху в бледном небе, являются всем миром, который окружает меня, простым и важным как декорации мощной драмы.

Часовой наверху не шевелился уже два часа. Он, кажется, стал частью глиняной стены, на которой он выглядит неподвижным и молчаливым как индийский святой столпник. Уже три года стоит часовой на этом месте, летом и зимой, днем и ночью, на ветру, дожде, жаре, холоде и огне.

Иногда он сменяется, иногда он гибнет, но это едва ли замечают. Личности соскальзывают туда по твердо зафиксированному заданию. Если проходишь, всегда один стоит и докладывает: «Пост номер 5, на посту ничего нового».

Это страшно. Кто стоит там? Часовой, винтовка, самая маленькая боевая единица, номер. Многие вовсе не видят в этом ничего другого. Почитать о наших храбрых воинах, которые стоят на посту, зевнуть и выключить свет. Другие со-

общают о высокой морали войск. Под этим они понимают, что мы еще можем выдерживать это. Заметив, что мы лежим на этой позиции, чтобы отдохнуть. Скоро мы снова «готовы для сражения». Мы ведь лучший материал.

Материал, это правильное выражение. Приблизительно как уголь, который бросают под раскаленные котлы войны, чтобы завод продолжал работать. «Отряд в огне сжигается в шлак», так ведь звучит элегантная формула военного искусства.

Нельзя за это обижаться на них. Они знают о душе фронтовика так же мало, как богач о бедности. Ах, мы – не только винтовки, мы – между прочим, также люди, сердца, души. Если мы ночь за ночью, многие тысячи по ту и эту сторону, извиваемся на дыбах времени, наша жизнь лежит перед нами, несказанно ужасная как разорванное предполье, и наши мысли подобны синеватым холодным огням ракет, которые отнимают все это мучение у темноты.

Я должен отвести душу. Я говорю: «Часовой, наше время истекло».

«Так точно, господин лейтенант».

Господин лейтенант. Он даже щелкнул пятками. Как глубоко это сидит. Эти люди – это большие дети. Нужно любить их. Иногда один говорил мне уже, совсем тихо и, как будто само собой разумеется: «Теперь я должен умереть, господин лейтенант. В меня слишком сильно попали». В безумные мгновения битвы они окружают одного: «Что мы должны делать? Куда мы должны идти? Я ранен». Тогда пытаешься улыбнуться и чувствуешь себя, в принципе, все же, таким же брошенным, как они.

Там сидишь теперь посреди своих ста человек и чувствуешь их стремление уцепиться. Иногда слышишь из блиндажа: «Да, этот лейтенант. Вам надо было бы увидеть его однажды при Гильемоне». Все же, тогда немного гордишься, и не хочется поменяться ни с кем. Тогда чувствуешь себя неразрушимо связанным с ними одной цепочкой, и что это что-то очень сильное, двигать сто мужчин вперед на смерть.

Сегодня смена нужна давно. Это странно, как ночь заостряет чувства. Воспринимаешь определенный флюид, который излучается в вещи и понятии, и чувствуешь это как выражение страшного значения. Это было часто уже абсолютно ясно мне во снах, в опьянениях и как ребенок, когда я боялся. Позже я смеялся над этим. Как сын совершенно убежденной в материализме эпохи я двинулся на эту войну, холодный, скороспелый житель большого города, мозг, отшлифован-

ный занятиями естественными науками и современной литературой до стальных кристаллов. Война очень изменила меня, и я думаю, что так случилось, наверное, у всего поколения. Моя система мира больше вовсе не обладает той надежностью, да и как бы это могло быть возможно при той ненадежности, которая окружает нас с давних пор. Теперь совсем другие силы, которые должны двигать нашими действиями, все же, очень глухие и соответствующие крови, но можно догадаться, что это глубокий разум, который находится в крови. И также догадываются, что все, что окружает нас, вовсе не так ясно и целесообразно, а очень таинственно, и это познание уже означает первый шаг в новом направлении. Мы снова соприкасались с землей, пусть же теперь мы как тот мифический великан снова обретем всю нашу силу через это соприкосновение.

Меловая земля звенит под легкими шагами. «Пароль!» «Макензен». Смена. Я передаю ручные гранаты и ракетницу. «Заградительный огонь – сигнал красного цвета, огонь на поражение – зеленого, огонь перенести вперед – сигнал белого цвета с жемчужными нитками. Белая ракета в стволе. Красные в канавке сзади. До сих пор все было спокойно».

Мы шепчем, как будто сговариваемся об убийстве. Ужас висит над траншеей как облако. Наверху шепчутся двое часовых. Один, похоже, новичок. «С четырех до пяти собственный патруль впереди, там ты не можешь стрелять. Если сверкнет вон там с краю слева, немедленно ложись в укрытие, тут тогда сразу начнется пальба». «Ну, такой дикой она уже не будет». Новички в большинстве случаев очень большие. Они еще не смотрели в глаза смерти. Старые воины по отношению к ним демонстрируют свое отцовское превосходство.

В блиндаже в нос мне ударяет густой запах испарений людей, плесени и разложения. Когда мы недавно захотели увеличить его, наши лопаты натолкнулись на пласт земли с ужасным смрадом. Там, наверное, лежат трупы или засыпанное отхожее место.

При зажигании свечи я вижу тающий стеарин, покрытый слоем вшей. У моего денщика есть привычка сжигать своих вшей на свече. В данный момент он лежит с моим заместителем и его денщиком вместе на топчане. Они спят беспокойно, хрипят, стонут, валяются туда-сюда. С отвращением мой взгляд задевает место, в которое порхающее мерцание свеч мелькает над их расплывчатыми телами. Ну и хлев! Как тесно мы вместе сидим в грязи. Это выглядит очень уютно в иллюстрированных журналах, похоже на окладистую бороду, загородный поселок дачников и трубку, но если постоянно слушать, как каждый полдень чавкают – не говоря уже обо всем остальном – и как каждую ночь храпят, то с

грустью вспоминаются времена собственной квартиры, собственной тарелки и собственного умывальника.

Я отрезаю толстый ломоть хлеба и лезу своим карманным ножом в липкую консервную банку, чтобы покрыть хлеб похожими на кашу волокнами говядины. Мои руки грязны и холодны, в моем черепе горит огонь бодрствовавшей ночи. Мозг работает слабо и неохотно и порождает ряд неотчетливых, беспорядочных и мучительных картин. Тогда я бросаюсь на топчан рядом с другими.

К утру мою полудремоту разрывает грохот котелков и ударов лопат. Ординарцы приносят кофе и хлопчут у крохотной печки из листового металла. По-видимому, они получили по дороге огонь.

«Парень, вот уж была снова поездка; моя посуда почти пуста. Томми особенно палили по ложбине, каждое утро у нас был там только неприкосновенный запас. Одна эта штука влупила мне по заднице куском земли, так что я, все таки, сбился с ровного шага. Снова было совсем вплотную от меня!»

Он совершенно прав. Снова совсем вплотную. Собственно, тут всегда совсем вплотную. К этому, наконец, привыкаешь. Вон там двое сидят на своих ящиках ручных гранат, как всегда, только немного запыхавшись. Если бы они теперь не вернулись? Лежали бы выпотрошенные в ложбине, большие трубчатые кости сломаны как соломинки, обожженные и разорванные?

Мы забыли бы это уже завтра. Мы – чистые машины забывания. Разумеется, если стоишь перед таким капрично голого разрушения, ужас как медленный, холодный разрез ножа проходит сквозь душу. Тогда отворачиваешься и делаешь странное усилие, которое я сравнил бы, пожалуй, с подтягиванием на руках или судорожным глотанием, которым хотят сдерживать рвоту. Это возмущение против костлявого кулака безумия, давление которого уже обтягивает мозг с тяжестью и темнотой. При дальнейшем движении думаешь, что, пожалуй, не настолько уж все плохо. Только один еще бормочет как во сне: «Голова. Ты видел голову?»

Оба беседуют дальше. Другой говорит: «Однажды всему этому крышка. Тот, кто погиб в самом начале, тому еще повезло. Мне только интересно, как долго все это дерьмо еще продлится».

Теперь начинается один из тех бесконечных разговоров о войне, которые я слушал уже сотни и сотни раз до пресыщения. Это всегда одно и то же, только ожесточение становится острее со временем. Люди подходят к этому жизненно

важному вопросу с религиозной серьезностью, чтобы снова и снова биться своей головой по стенам своего горизонта. Они никогда не найдут решения, так как уже их постановка вопроса неправильная. Они воспринимают войну как причину, не как выражение, и потому они ищут снаружи то, что можно найти только внутри. Только проявление, грубая поверхность имеет для них значение.

Между тем: их нужно понимать. Они материалисты в полном понимании этого слова, я, прожив среди них теперь уже целые годы, слышу это из каждого их слова. В первое время я удивлялся важности, которую они приписывали, например, еде, и вскоре сделал наблюдение, что лишения крайне тяжело давались им, людям физического труда. Они – действительно материал, материал, который идея сжигает, хотя они не сознают этого, для ее больших целей. В этом их собственное значение, величину которого они не в состоянии охватить, и это причина их страданий. Потому с ними нужно обращаться соответственно: человеку и сочувственно, насколько они индивидуумы, жестко, насколько их бытие принадлежит не личности, а идее.

Да, только поверхностное значит что-то для них. Для них их постановка вопроса является единственно верной. Если бы они нашли путеводную нить, чтобы найти дорогу из лабиринта войны или с отчаянием разрубить ее гордиев узел, то они были бы у цели своих желаний. Тогда у них снова было бы то, о чем они плачут ежечасно, тихое прозябание в ограниченном пространстве, счастье в мелкобуржуазном смысле. Если они в безопасности, то все остальное для них далеко, «лежит за семью морями». То, что они с помощью мира или революции ни на шаг не приблизились бы к истинной проблеме войны, что они сами тоже являются предпосылкой войны, им никогда не удастся разъяснить. Они – эгоисты, и это хорошо.

Бесчисленные разы доносятся ко мне обрывки фраз их шепота. Если бы те, в тылу, однажды хоть на один день пришли бы сюда вперед, тут же все бы окончилось. Как в кино; позади лучшие места, впереди рябит и мерцает. Бедного обманывают всегда. Та же самая оплата, та же самая еда, война была бы забыта уже давно. Мы боремся не за честь Германии, только за толстых миллионеров. Что нам с этого? Они должны поскорее заканчивать, иначе мы больше не будем играть.

За одним лозунгом слышится другой, настоящие Вильгельмы Телли. Их беседа – это ни развитие, ни выяснение, а бросание самим себе стертых монет, которые где-то в убежище, в отпуске, в столовой, упали в кошель для сбора денег их мозга и, как все, что беспрерывно повторяется, запомнились им как правда. Опьяненные лозунгами свалились они в пропасть этой войны, в лозунгах они

стремятся снова вытащить себя оттуда. Внутри они остаются всегда теми же самыми вопреки тому виду народной ораторской нравственности или нравственности с черного хода, в котором подпольные пророки среди них обычно высказываются. Кто хотел бы обижаться на них за это? Разве собрания верхушки нации на совещаниях и в парламентах это что-то иное, чем большие бомбардировки лозунгами, конгрессы идеологов? Разве пресса это что-то иное, чем громыхающая кузница, которая разрушает наш мозг лозунгами и социализирует, стандартизирует и пролетаризирует мышление?

Дух стрелкового окопа – это не продукт войны, наоборот. Класс, раса, партия, нация, каждая общность – это страна сама по себе, окруженная валами и плотно обтянутая колючей проволокой. Между ними пустыня. Перебежчиков застреливают. Иногда пытаются выбраться и разбивают себе череп.

Теперь они дошли до разговоров о родине. Это их второй большой предмет для бесед. Как другие делят свой мир на жизнь и творчество, свет и темноту, добро и зло, прекрасное и безобразное, радость и горе, так они делят его на родину и войну. Если они говорят «дома» или «у нас», то они при этом не думают ни о каком пестром пятне на географической карте. Родина, это угол, на котором они играли как дети, воскресный пирог, который выпекает мать, комнатка в заднем корпусе дома, картины над диваном, солнечный луч через окно, кегли в каждый четверг, смерть в кровати с газетным некрологом, похоронной процессией и качающимися цилиндрами позади. Родина, это не лозунг; это только маленькое скромное словечко и, все же, рука с изобилием земли, в которой коренится их душа. Государство и нация – для них это неясные понятия, но что называется родиной, они знают. Родина, это чувство, которое ощущает уже растение.

Но теперь мне уже хочется встать, потому что они собираются затронуть сексуальный вопрос. При этом у них обычно просыпается сила воображения изголодавшихся матросов. Я наливаю воду в каску, умываюсь, пью кофе и засовываю в кобуру пистолет, чтобы идти в траншею.

«Сегодня у кофе снова такой вкус, будто им плевали на стену. Самое лучшее они выпьют в кухне. Теперь я выхожу, надо надеяться, с едой у вас будет лучше. Впрочем: мне тоже хотелось бы часа два поспать в тишине. Где они, вообще, берут все это, про толстых миллионеров и т.д.?»

Я исчезаю, не ожидая ответа на мой ораторский вопрос. С этим толстым рыбо-торговцем из старой части Бремена и с неуклюжим крестьянином из болот под Ольденбургом, впрочем, можно работать, несмотря ни на что. Это великолепные

парни, в принципе, верные и твердые как дубовые балки, из которых уже можно смастерить здание. Нужно ли расчищать девственный лес или атаковать французские окопы, эти люди всегда будут делать свое дело.

Ага! Я уже думаю под влиянием свежего утреннего воздуха! Он гладит нервы, хотя я едва ли спал. Если траншея ночью кажется похожей на таинственную пещеру, то теперь в свете она выглядит очень регулярной, правильной и разумной. Всюду бьющие молотками, копающие фигуры. Я вытаскиваю рулетку из кармана. Пулемет пятого отделения, конечно, стоит еще не так, чтобы в достаточной мере прикрывать фланг. Не установить ли его на левом крыле в сапе 2? «Теперь наша траншея в порядке, правда?» «Ну, они не смогут так легко отобрать ее у нас». «Кофе был сегодня утром не особенно хорош?» «Совсем не хорош, но с ним принесли по три сигары на каждого, правда, марки «ручная граната» – один раз затянуться и сразу выбросить!»

Посмотрите только, как и что! Нет, они не смогли бы отобрать нашу траншею у нас. Все же, мы все знаем, зачем мы здесь. Я был совсем доволен, курю марку «ручная граната», и посещаю командиров соседних взводов, с которыми веду бесконечные беседы, так же, как те двое парней только что, немного образованные, наверное. Политика, проклятый этап, следующий отпуск. Также сексуальный вопрос затрагивается. Да и что можно было бы делать еще на протяжении целого дня, чтобы не сойти с ума?

Так наступает полдень.

Во второй половине дня я посещаю друга, который командует правым флангом соседнего полка. Чтобы добраться до него, мне нужно пройти через расположения двенадцати рот. После шестого участка мне нужно показывать свое удостоверение, потому что люди там меня уже не знают. После многих расспросов я добираюсь до журавлиного окопа, в котором он проживает. У него как раз гости, мы играем в польскую лотерею и наливаем себе шнапс из походной фляги. Так время проходит очень быстро, и когда мы как раз делаем самый лучший глоток, мне приходится снова прощаться, так как я вспоминаю, что в девять часов начинается мое дежурство по траншее.

Я бреду назад по бесконечной траншее, из углов которой уже клубятся сумерки. Вокруг каждого входа в подземный ход сидит группа серых фигур, дрожащих от холода и молчаливых. Ранняя сигнальная ракета вскакивает, шипя, и посылает свой свет над пустыней серебряными, дрожащими волнами. Потом она гаснет в подавляющей тишине. Ночные часовые подтягиваются наверх.

Прошел еще один день из многих, которые мы тут еще проведем. Снова были маленькие споры и согласие в этой странной общности, как всюду, где люди живут совместно. Но, все же, наконец, это именно большая судьба несет нас всех на одной и той же волне. Здесь мы однажды все вместе как организм противостояли враждебному внешнему миру, как люди, которых, несмотря на их маленькие проблемы, страдания и радости, все же, охватывало одно, более высокое задание. Здесь спорят, здесь кое-как уживаются друг с другом, здесь вместе сражаются и страдают, и спорят со своим временем, которое не понимают, чтобы, вероятно, однажды позднее понять, что все это происходило по воле большого и последовательного разума, который покоится также и над этим зловещим пейзажем.

12. Страх

Меловая пещера настолько туманна, что свет от свечи уплотняется в темно-красные, дрожащие шары. Едва ли кто-то мог бы подумать, что так много людей могут жить вместе так тесно. Я сижу на ящике с гранатами напротив командира боевых групп, отделенный от него только картой. Он уже много дней почти не спал, неутомимо пляшут тонкие мышцы на его худом лице. Без сигареты он мгновенно свалился бы.

Когда так сильно устаешь, то у вещей сильно проявляется что-то зловещее. В углах слышишь насмешливый шепот и шорох, человеческие лица принимают злобное, коварное выражение. Хочется заплакать или ударить кулаком какую-то злобную рожу.

«Итак, в 6.30 вы выступаете. Неожиданно. Когда захватите вторую траншею, вы можете разведать ущелье мертвецов, в котором должны находиться сильные резервы. Нужно постараться как можно быстрее подвести их под действенный огонь. Если вы раньше натолкнетесь на сильное сопротивление...»

К чему он все это рассказывает? Чистая злость. Его слова действуют мне на нервы. Я хочу спать, дома, на белой постели, и не думать ни о чем.

«Все ясно или еще вопрос?»

Я просыпаюсь. Шатаюсь, выползаю наружу. Свободный ночной воздух действует на меня хорошо. Люди лежат со своими винтовками.

«Мы должны атаковать. Более подробные приказы потом. Винтовку в руки, не в ногу – марш!»

Не в ногу. Люди часто говорят в шутку об этой команде: «Без цели». Наверное, кто-то теперь так же злится на меня, как я только что злился на майора. Эта тишина, сдержанная ярость, в которую молча вгрызаешься все глубже, в которую прячешься, как растерянное животное в свою пещеру. Кто-то всегда должен быть виноват.

Как сверкает Луна на стволах винтовок. Это накопившаяся сила. Мы уже наверняка захватим обе траншеи, энергично, со знанием дела, и как всегда с целеустремленной техникой. Потом перед нами лежит ущелье. Затем стопятьдесят, нет, вероятно, всего двадцать винтовок палят по резервам. Тогда застучат замки и никто не сможет выбрасывать пули из раскаленного ствола так быстро, как он хотел бы. Нам предстоит большое дело, может быть, о нем даже упомянут в оперативной сводке командования сухопутных войск. И тот, кто отделается от темной, бормочущей тени за мной, тот расскажет позже: «Дружище, вот тогда это было настоящее дело. Стреляли с руки! Это поднимало настроение. Наверное, как раз то, что было нужно. Это была еще война!»

Это также несказанно увлекательно, когда люди встречаются в бою. Они потом на протяжении всей своей жизни рассказывают об этих мгновениях. Недавно мы нашли в письме погибшего американца фразу: «Война очень интересна. Еще интереснее, чем охота на тигра».

Hunting the tiger. Он очень удачно выразил этим кое-что, что чувствует временами, пожалуй, каждый настоящий мужчина, этот сын молодой и смелой расы, которого мы недавно зарыли в землю вместе с еще двадцатью другими. Борьба принадлежит к числу очень больших страстей. И я еще не видел никого, кого не потрясло бы мгновение победы. Это снова охватит завтра и нас, когда мы после короткой борьбы на грани жизни и смерти, после высвобождения самых изысканных средств, после огромного проявления силы, на которое способен современный человек, устали внизи на бегущую толкотню в ущелье. Тогда из раскрытого рта каждого с силой снова вырвется тот безумный, протяжный крик, который так часто и резко звучал у нас в ушах. Это древняя, страшная песня из нашей утренней зари, о которой никто никогда бы и не подумал, что она все еще настолько жива в нас.

Завтра мы снова испытаем одно из этих мгновений, и, вероятно, к этому часу также на другой стороне уже пробираются сквозь огонь маленькие человеческие группы, с которыми мы встретимся. Мы никогда не виделись и, все же, об-

ладаем друг для друга такой же важностью, как сама судьба. «Насколько страшно должно быть, все же, убивать людей, которых никогда не видел». Такие слова во время отпуска часто можно услышать от людей, которые любят делать чувствительные наблюдения вдали от выстрелов. «Да, если бы они, по крайней мере, сделали кому-то что-то плохое». Это говорит обо всем. Вы должны ненавидеть, у вас должна быть личная причина, чтобы убивать. То, что можно уважать противника и при этом бороться с ним, не как с человеком, а как с чистым принципом, что можно защищать идею всеми средствами духа и силы, вплоть до огнеметов и газовых атак, этого они никогда не поймут. Об этом можно беседовать только с мужчинами. Убиваешь как мыслящий человек, не просто так. Чем больше чувствуешь себя связанным с жизнью мускулами, сердцем и мозгом, тем более высокое почтение ощущаешь перед нею. Но однажды, раньше или позже, узнаешь, что быть – это больше, чем жить.

Бормотание людей замирает. Легкие свистят под ремнями ранцев. Мы на краю пустыни. Перед нами свистят взмахи кнутов смерти, сверкают ее трещащие сигналы. Ночь расплывается в неизведанном, Луна бросает известковую белизну на лица, глаза блестят как в жару.

Мы – привычные странники по посыпаемым снарядами полям и, все же, снова и снова дрожащие чужаки перед воротами смерти. Эти гранаты твердые и стальные, однако, они полны демонической жизни, коварные, ощупывающие кулаки ада. Они как странное, неминуемое опьянение, жужжание, увеличение, распухание и разбивание, вихрь, который разрывает мозг до дна бессознательных глубин; шумящие железные птицы, ревушие ураганы и жадные бестии. Их язык понятен каждому.

Резкий смех неистовствует над нами, чтобы утихнуть вдали. Короткие маленькие огненные облака брызгают. Иногда шумящий книзу напор разбивается в бурной, ревушей ярости. Тогда свистящий рой осколков, зубчатых и угловатых, подметает воздух.

Мы обычно называем это опасной атмосферой, «толстым воздухом». К этому не может полностью привыкнуть ни один человек, даже самый смелый.

С тысячью членов просыпается в нас страх и скоро сгущается до чувства абсолютной силы. Если бы кто-то захотел дать его картину, то нельзя было бы выбрать лучше, чем картину этого ландшафта: черная, печальная долина, беспрерывно и болезненно прожигаемая горящими точками. Против этого не поможет никакое мужество, потому что опасность всюду, она не разоблачает себя, весь ландшафт кажется насыщенным ею. Неизвестное ужасно. Когда, где, как? Оно

может появиться ежеминутно, совсем близко, дробя, надламывая, разрывая. То, в кого оно попадает, тот остается лежать, в то время как другие бегут дальше, не устаивая павшего даже беглым взглядом. Ужасны крики одиноких умирающих, они прибывают из темноты с длинными паузами, и затихают, как крики животных, которые не знают, почему они должны страдать.

Снова и снова нужно спросить себя, что в этом мраке, в котором царит одно лишь чувство страха, о котором нельзя получить никакого представления, еще заставляет человека, собственно, идти вперед. Никто не падает на землю, чтобы тайком убежать; шатаясь, пытая и проклиная, каждый идет вперед. Что тут за побуждение, которое производит здесь еще движение, хотя никакой душевной силы тут больше нет? Наслаждение боем? Оно охватит нас завтра, когда мы увидим перед собой врага как существо из плоти и крови, но то, что происходит здесь, это настолько трезво и математически, как будто смерть использовала нас как функцию для уравнения. Это страшный расчет вероятностей, при котором личная сила не играет никакой роли.

Но, вероятно, этот стимул состоит в дисциплине? Этого тоже не может быть, так как здесь каждый также рассчитывает только на себя, и солдат, и командир, и что удерживает эту маленькую группу, это только лишь инстинктивное стремление, вроде того, что царит в стае перелетных птиц. Здесь дисциплина больше совсем не играет роли, ни в положительном, ни в отрицательном смысле, для этого положение слишком серьезно, и требует слишком много всей силы. Если командир находит дорогу, и солдат в состоянии держаться в его близости, то этого уже много. Выступать за или против дисциплины, для этого только тогда есть время, когда все спокойно.

Тогда, может быть, мотивами являются отечество, чувство чести и долга? Но если теперь, именно теперь, когда попадания снарядов окружают нас как лес пламенных пальм, кто-то захотел бы крикнуть нам эти слова, то в ответ он получил бы только дикое проклятие. Здесь нет места для воодушевления, и, об этом нужно, пожалуй, сказать, здесь происходит работа, которая выполняется почти бессознательно, и в этом отношении эта работа носит животный характер.

Насколько человек здесь является индивидуумом, настолько он состоит только от страха. Но именно то, что он, все же, двигается, доказывает, что за ним стоит более высокая воля. То, что человек не чувствует ее, что как раз все личное возражает против этой воли, это показывает, что эта воля должна быть очень могущественной. Это потенциальная энергия идеи, которая воплощается здесь в кинетическую энергию, и которая сурово предъявляет свои требования.

Она умеет находить дорогу через неизвестное, и она влечет нас к цели, хотя страх наполняет нас. До тех пор пока она сильна, она всегда найдет свои инструменты, и если она угаснет, тогда всему конец. И если мы позже, когда у нас есть время поразмышлять, делаем подвиг из того, что здесь происходит, тогда мы делаем это по праву, так как сущность героя именно в том, что его идея движет его через все преграды материи. Мы чувствуем страх, так как мы преходящие существа, но если бессмертное побеждает этот страх в нас, то мы можем этим гордиться. Это показывает, что мы действительно связаны с жизнью, а не только с существованием.

Так мы идем вперед, мы проходим наш путь как одинокая, неизвестная толпа, которая, однако, сама не зная этого, посреди этих смертельных пустынь невидимо связана с большими мощными потоками жизни. Мы преодолеваем также ложбину, этот адский засов передовой, днем и ночью засыпаемой огнем. Мы бежим. Все быстрее, все тяжелее сливаются попадания снарядов друг с другом, поглощая сами себя в растущем рокоте. Земля катится, резкими, тяжелыми волнами душный воздух бьет нам в лицо, наполненный газом и запахом тлена. Комья земли с глухими ударами бьют по нашим каскам, осколки звенят, ударяясь об обмундирование. Очень отчетливо слышно между тем, когда кусок железа врезается в мягкое человеческое мясо. Перед нашими ногами и по краям ложбины лежат мертвецы, дорожная пошлина за долгие месяцы, восковые куклы как привидения в бледном свете, их члены странно вывихнуты. Грудная клетка мягко как воздуходувный мех оседает под моим подкованным сапогом. Бесперывно в мозг с силой бросаются впечатления, синеватые звонко жужжащие удары меча, раскаленные удары молота. Насколько можно заметить, тут теперь едва ли можно еще чувствовать страх, но вещи, которые видишь, блестят в таинственных красках кошмарного сна.

Как избежавшие шпицрутенов смерти мы просыпаемся на передней линии. Пот стоит в сапогах. Дыхание страдает в груди. Один возникает передо мной из темноты, с осунувшимся черепом под каской. С той сверхчеловеческой самоочевидностью, которая господствует на этих заколдованных островах ужаса, он ведет меня к яме командира роты. Тот наливает из его походной фляги в крышку котелка шнапс, который я проталкиваю в себя как дикарь. Потом мы сидим, бормоча, вместе. Наши голоса беззвучны как жесть. Перед нами сидит на корточках неподвижная фигура. Это часовой или труп? Кругом пылает горизонт.

На моем запястье тлеют фосфорические цифры на часах. Цифры на часах, странное слово. 5.30. Через час начнется штурм.

13. О враге

Это чувство часто бывает в ночах боя: мечтать о сказочном переживании. Идешь по траншее как во сне, причинная связь далека от сознания; если какое-то событие попадает в мозг, то едва ли удивляешься, как будто бы давно знал все раньше.

Это кажется мне вполне понятным. Два часа валяться в полусне на стальной сетке в блиндаже, два часа смертельно усталым красться по траншеям туда-сюда; и все это повторяется из ночи в ночь. Там, в конце концов, возбужденные сны принимаешь за действительность, а действительность за бледный сон.

Также эта ночь сегодня так странна. Полнолуние скрыто за сверкающими туманами, которые как его излучение висят над пейзажем. Его затемненный, как будто через стакан с молоком, свет высасывает действительность из всех вещей, ничего не видишь и, все же, думаешь, что видишь много. Тяжелый воздух проглатывает звуки, идешь беззвучно как по морскому дну.

Таковы объяснения, с помощью которых пытаешься успокоиться. То, что можно объяснить, того можно не бояться. Мы ставим наш мозг в центр и позволяем всем вещам кружиться вокруг него.

Но если такой ночью стоишь, покинутый и одинокий, тогда чувствуешь только, насколько поверхностна вся эта постановка вопроса. Тогда чувствуешь себя беспомощным как ребенок, тогда самая сильная уверенность будет как в ужасном сне. Можно, наверное, сказать себя, что усталость и ночь, как бы полная привидений, играют свою игру с нервами, но это успокоение значит столь же мало, что и утешение отца в «Лесном царе»: «О нет, то белеет туман над водой».

И потом этот глухой шепот: что-то происходит. Так хотелось бы сохранить это в мозге, не думать об этом, но оно выползает, оно показывает свою сущность, сидит в засаде за каждой траверсой и снова крадется обратно из каждой ямы.

Да, иногда нельзя сопротивляться тому, что носится в воздухе. Это замечаешь, если живешь как клетка в теле армии. Воодушевление, ужас и кровожадность охватывают тебя, и ты не можешь от них защититься.

Это чувствуют все те, которые сидят здесь в темноте. Это шепчет. Это обходит. Страдают галлюцинациями. У ландшафта есть нервы. Иногда пулемет врывается в короткий истерический смех. Неутомимые вспышки сигнальных ракет распре-

деляют скачкообразно свет и тень. Часто они вздрагивают красным, желтым и зеленым: на помощь, мы боимся. Тогда очередь автоматного огня тарахтит близко или далеко, туманы кипят от пожара и яда. У каждой вещи есть свой язык, механизм боя работает с дребезжанием и обтягивает людей сетью из огня и стали. Иногда появляются тени – три ящика ручных гранат – где блиндаж санчасти – химическая тревога – тогда действуешь и думаешь о совсем других вещах.

Сложно описать все, что происходит в глубине. Кто-то приходит и шепчет: «Группу для устранения повреждений. Кабель перебит выстрелами». Конечно: мозг думает о телефоне, провода разорваны, связь с командованием самое важное задание отряда, так точно, так точно. Военное училище, полевой устав: о, это знаем точно. Но внезапно это понимание становится смешным второстепенным делом в призрачной беседе. Слова получают скрытый смысл, пробивают поверхность и действуют непосредственно в понимании вечно закрытых глубин. Ощущение бурлит вокруг другого основного момента, и ты ощупываешь все в ужасе.

У каждого когда-то был кошмарный сон, и если он вспомнит об этом сне, то он найдет: реальное в этом было ничто против той зловещей силы, которая этим двигала. Э.Т.А. Гофман был как раз поэтом этих прорывов, из его придворных советников и обывателей неожиданно сверкает таинственное, взгляд на дверную ручку волшебным образом вызывает удушающее переживание. Достоевский тоже знал об этом, иначе он никогда не смог бы описать беседу в бреду Ивана Карамазова с одетым в повседневность неизвестным. Но как сказать об этом тем, кто чувствуют себя дома только между четырех стен понятного?

Я стою рядом с пулеметом на левом фланге. Иногда я запускаю сигнальную ракету и заряжаю новую в пистолет. Земля покрыта пустыми картонными гильзами. Каждый раз, когда свет вырывает из темноты территорию перед нами, часовой возле меня прикрывает глаза рукой, чтобы лучше видеть. Иногда я что-то говорю, чтобы он не думал, что я боюсь, но слова выходят из меня так неуверенно.

Что-то происходит. Перед нами гремит и звенит проволока. Мы знаем все шумы ночи: это не ветер, но и не ночная птица на нейтральной полосе. Здесь работает человек, дребезг слышится с перерывами, осторожно и тонко, металлом об металл. Часовой хватает пальцами мою руку. Тише, тише! Мы используем выдох, чтобы сформулировать это слово. Мы уже не как ухо, а как натянутая барабанная перепонка. Ветер проносится над травой как предчувствие, в соседней части порхают мины по воздуху, чтобы растрескаться в перелеске как же-

лезные бочки. И между всем тем постоянно тонкие, металлические щелчки. Теперь шум, и тень поднимается высоко. Это происходит, конечно, тихо, совсем тихо, все же, это как гром в наших ушах, этих закаленных в грохоте городов и в шуме неистовых битв ушах. Секунда сгорает раскалено добела. Пулемет выбрасывает очередь, граната разрывается с дымом и треском. Мы кричим, люди спешат к нам по траншее, одна сигнальная ракета взлетает за другой. Ночь электризуется, винтовки начинают трещать, отделение со второй линии бросает ручные гранаты, чтобы заглушить свой страх, кто-то устанавливает маленькие мины на шест и стреляет в синеву. В траншеях тлеет сладковатый запах пороха, напоминающий о похожих переживаниях. Появляется ударная группа, стайка коренастых гладиаторов, приученных к работе с ножом и взрывчаткой. Они прыгают беззвучно, от траверсы к траверсе, только ручные гранаты громяют в мешках с песком. Эти мужчины обучены механике траншейной борьбы: Бросок – внимание – вперед! Они сработались друг с другом как механизм, действуют автоматически, не оставляя места мыслям. На этот раз они прибыли зря, хотя их присутствие успокаивает, чувствуется их сконцентрированная сила.

«Они в траншее?»

«Только патруль перед проволокой».

Маленькая интермедия, чисто пехотное дело. Даже легким пушкам тут делать нечего. Огонь становится слабым, трещит еще раз громко и угасает. Один находит правильное слово: «Братишка, снова шум по пустякам». Совершенно верно, пустяк, встряхивающая судорога, о которой размышляют только тогда, когда она проходит. Нам, привыкшим думать, это снова и снова кажется удивительным. И если нас потом спрашивают: «Ах, пожалуйста, расскажите, что вы собственно подумали, там снаружи, это же было наверняка страшно, не так ли?», тогда у нас как ответ есть только смущенная улыбка. Нет, мы – не восковые кукольные герои, которых так охотно делают из нас. По нашей крови проносятся такие страсти и чувства, о которых за чайным столом не имеют никакого понятия.

Что произошло, собственно? Мы разогнали патруль. На колючей проволоке висит, как сверток, человек, пробитый пулями и осколками. Мы втаскиваем его и кладем на пол траншеи. Мы стоим в кругу над ним и шепчем. Карманный фонарь вспыхивает. «Такой молодой парень. Какие тонкие сапоги он носит, конечно, офицер». Часовой рассказывает: «Я думаю, только приблизился. И когда он был действительно близко, ему досталось. А лейтенант ему еще и гранату подкинул».

Да, да, так это было. Мы все тонко обдумали. И если мы рассказываем об этом деле спустя десять лет, то оно будет переливаться красками еще в совсем других цветах, так как время – это лучший романтик. И если мы еще будем живы через пятьдесят лет, утром будем с тросточкой медленно шагать сквозь весну, во время больших праздников с орденскими лентами на сюртуке нас будут показывать как почтенные реликвии, когда кровь будет катиться отчужденно и слабо по нашим артериям, тогда эти прогремевшие в борьбе и огне годы будут мерцать для нас как далекий и гордый остров. Тогда мы будем носить наши воспоминания как почетную одежду, и наши внуки будут завидовать нам в этом. Тогда молодая сила вновь накопится в изобилии, и не пропадет также и та искра, которая разобьет эту тоску по действию в брызжущий фейерверк. Перед этим моторным ритмом из напряжения и действия все предостерегающие голоса от Берты Зутнер до Канта должны пройти как детское бормотание. У крови есть ее собственные, неизменные законы, перед которыми тонет весь опыт.

Смена. Я иду в блиндаж и ложусь. Естественно, я не нахожу сна. Нервы. Это шмыгает по коже, нажимает на живот, язвит в корнях волос. Иногда задремлешь и пробудишься от вздрагивающего удара, как если бы упал на постель высоко сверху. И все время один и тот же сон: идешь по траншее, бесконечно, в лучах сигнальных ракет, вокруг свистят пули, и ищешь место, где можно было бы поспать. Наконец, наконец, находишь блиндаж, спускаешься по ступеням, встряхиваешь того, кто там лежит на топчане, и будишь себя самого. Это звучит очень смешно, я знаю, знаю.

Все-таки: маленькое переживание было облегчением. Мы вырвали что-то осязаемое из неопределенного, мы в том человеке убили наш собственный ужас. Только очень редко враг является нам как человек из плоти и крови, хотя только тонкая, разорванная полоса пашни разделяет нас с ним. Недели и месяцы мы сидим в земле, оглушенные роем снарядов, окруженные грозами. Тогда мы почти забываем, что боремся против людей. Враждебное выражается как развитие огромной, безличной силы, как судьба, которая с силой наобум наносит свои удары кулаком.

Когда мы в дни штурма поднимаемся из окопов, и пустая, неизвестная земля, в которой смерть действует между прыгающими столбами дыма, лежит перед нашими взглядами, тогда кажется, как если бы нам открылось новое измерение. Тогда мы внезапно видим очень близко в землястых пальто и с глинистыми лицами как появление привидений, которое ожидает нас в мертвой стране врага. Это то мгновение, которое никогда не забывают.

Насколько же иначе представляли мы себе это раньше. Лесной пожар в первой зелени, усеянный цветами луг и винтовки, которые стреляют в весну. Смерть как сверкающее движение туда и сюда между двумя стрелковыми линиями двадцатилетних. Темная кровь, брызнувшая на зеленые стебельки, штыки в свете утра, трубы и знамена, веселый, яркий танец.

Но здесь давно разучились обращать внимание на выстрел винтовок. Ночью подстерегаешь, обвешанный странным оружием, в ужасных пустынях, а дни грезишь в путанице ходов. Эта борьба – не огонь, а тлеющий пожар. Только иногда возникает темное предчувствие, что на другой стороне тоже живут люди. Что там тоже ночь будит жизнь, что переговоры проносятся по телефонным проводам, что ожидают в убежищах разносчиков пищи, что копают лопатами, и часовые в длинных рядах, устало и дрожа от холода, всматриваются в предполье. Конечно, в местах отдыха у них тоже есть построения, смотры и формальные обращения, а далеко в сзади тыловые районы, над которыми насмежаются и которым завидуют. Кто-то из них лежит, вероятно, как раз сейчас на спине и читает при свете свечи в третий раз письмо из норманнской или шотландской родной деревни, кто-то думает о своей жене, а командир роты пишет неразборчиво донесение, что лейтенант Уэссон не вернулся со своего патрулирования.

Перед атакой их траншеи заполняются восторженными солдатами, и если наши сигналы к штурму блестят от них к нам, они готовятся к борьбе за обрывок траншеи, перелески и околицы деревень. Но если мы сталкиваемся в облаке огня и дыма, то мы становимся одним, тогда мы – две части одной силы, слившиеся в одно тело.

В одно тело – это сравнение особенного вида. Кто понимает это, тот подтверждает самого себя и врага, тот живет одновременно в целом и в частях. Он может вообразить себе божество, у которого сквозь руки скользят эти пестрые нити – с улыбающимся лицом.

14. Перед боем

Итак, послезавтра! 21 марта 1918 года. Это день решения, в который мы одним ударом кулака доведем до конца огромный ход, разорвем железные цепи и последним взмахом ударим нашими штурмовыми к морю. Волна на Запад, четыре года сдерживавшаяся огненными преградами и разбитая, наконец, вспенившись, рванется к цели. Пришел час великого прорыва и его оценки, мы пробьем брешь в бастионе, которую никто не сможет заткнуть. Мы разорвем стальную сеть, чтобы массы, которые упорно ждут за нами, схватили ее концы, вгрызлись

в открытые фланги, чтобы развертываясь, преследуя и уничтожая освятить нашу непоколебимую веру в себя победой, ясной и полной победой.

В нашем кругу нет никого, кто сомневался бы в этом. Четыре года мы пронесли это убеждение с одного поля сражения к другому, видели, как тысячи гибли на бегу к великому обещанию, во время коротких дней отпуска нас торжественно встречали как исполнителей святой миссии, молодость и все краски мира бросили на темные чаши весов и так многим пожертвовали ради наших идеалов, что их закат был бы также и нашим закатом.

Мы в девять лет выучили «dulce et decorum», дома, в школах, университетах и казармах понятие «Отечество» было поставлено в туманном мире нашего мировоззрения как центр, как Солнце в планетной системе, как ядро в мощном вихре атома. На серых стенах коридоров казарм золотые литеры объявляли имена павших на прошлых войнах, и изречения между ними напоминали нам, что мы должны всегда быть достойны этих героев. Памятники генералов на плацах, изучение истории, которая показывала нам, как тесно величие и упадок народа связаны с его войнами, серьезные лица, с которыми поколения офицеров смотрели на нас с портретов на стенах нашей офицерской столовой, блестящие ордена и простреленные знамена, шелк которых только на больших праздниках развевался над толпой: все это сделало войну для нас торжественным и могущественным явлением. Мы чувствовали себя как наследники и носители мыслей, которые веками передавались по наследству от поколения к поколению, и были все ближе принесены к воплощению. Над всякой мыслью и всяким действием стоял самый тяжелый долг, наивысшая честь и сверкающая цель: смерть ради страны и ее величия. Таковы были силы, которые высвобождали и бросали наружу вспышку давно ожидаемого в нас, силы с такой мощью, которую мы считали самой могущественной и непреодолимой, чем все до сих пор. Семья, любовь, вожделения пестрого кинофильма жизни, все меркло в свете этих сил, когда они в опьянении и восторге бросали нас за грани навстречу победе. Если даже работа и была необыкновенно тяжелее, чем нам думалось вначале, то, все же, мы стоим теперь перед вознаграждением, последний конец дороги лежит перед нами, и послезавтра с этим нужно будет справиться.

Капитан как раз говорил. Если даже нам в ходе событий когда-то такие большие слова о славе и о радостной почетной смерти поблекли и стали пустыми, то сегодня у них снова есть звучание и напряжение как когда-то; мы пьем за победу и разбиваем стакану о стенку. Он прав, батальон уже сделает свое дело, мы горды, что как первая волна сможем пронестись над разбитыми ураганным огнем траншеями. Мы товарищи, какими могут быть только солдаты, действием, кровью и образом мыслей сросшиеся в одно тело и одну волю. Испытанные пе-

редовые бойцы сражения техники, мы хорошо знаем, что нам предстоит, но мы также знаем, что в нашем кругу нет никого, кто тайком страх душит перед большой неизвестностью. Трусы не удерживаются в наших рядах; как мы знаем дорогу к врагу, так они умеют находить безопасную землю глубокого тыла. Вопреки врачам и комиссиям они мастерски лавируют между военными госпиталями, курортами и гарнизонами, где синий мундир и белые манжеты отличают солдата от воина.

Мы часто сердимся, когда они присылают нам открытки «с товарищескими приветами» из Боркума и Пирмонта; сегодня ни одна мысль не касается их сфер общества, хорошего тона и хороших вин. Стоять как первые в борьбе: мы все еще считаем это честью, которой достойны только наилучшие. Сегодня мужчина и действие – это содержание дня, и послезавтра лучший рядовой состав великого воинственного народа приставит резец к новому лицу земли. Это день как день Вальштатта, Вены и Лейпцига, где для народа и его мыслей будет проломан кровавый проход.

Да, мы веселы и уверены в победе. У этих дней и ночей до борьбы есть странное обаяние. Все обременяющее утопает в несущественном, мгновение становится восхитительным владением. Будущее, забота, все надоедливое, которым мы затопляли наши хмурые часы, выбрасывается в сторону как докуренная сигарета. Через немного часов, вероятно, побледнеет тот неясный остров за нами, которому мы, как Робинзоны, пытались придать, среди многих, наш смысл. Деньги, этот источник заботы, станут излишеством и чепухой, стоит пропить последний талер, хотя бы ради того только, чтобы освободиться от него. Родители будут плакать, но время уберет все прочь. Ведь так много мужчин погибают, девушка все еще найдет себе одного, и ее любовь к мертвому с новым превратится в чувство. Друзья, вино, книги, богатый стол сладких и горьких наслаждений, все угаснет с сознанием, как последний свет свечи у рождественской елки. Умираешь с надеждой, что миру будет хорошо, и как раз в последнем вздрагивании чувствуешь, как бегло, в принципе, ты проходил мимо людей и вещей. Великий вечер, решение, забвение, гибель и возвращение из времени в вечность, из пространства в бескрайнее, из личности в то большое, что в своем лоне несет все.

Да, солдат в его отношении к смерти, в жертвовании личностью для идеи, мало знает о философах и их ценностях. Но в нем и его действии жизнь выражается более волнующе и глубже, чем когда-либо книга могла бы сделать это. И снова и снова, вопреки всему абсурду и безумию внешнего развития событий, ему остается сияющая правда: смерть за убеждения – это наивысшее совершение. Она – признание, действие, исполнение, вера, любовь, надежда и цель; она в

этом несовершенном мире сама по себе совершенство и завершение. При этом само дело – ничто, а убеждение все. Пусть кто-то умирает, упрямо упираясь в несомненную ошибку; он сделал самое большое. Если летчик Барбюса глубоко под собой может видеть, как две вооруженные и готовые к бою армии молятся Богу о победе их справедливого дела, то, конечно, одна из них, вероятно, даже две, прикрепляют заблуждение к своим знаменам; и, все же, Бог охватит одновременно обоих их в своей сущности. Иллюзия и мир – это одно, и кто умер ради заблуждения, остается, все же, героем.

У меня теперь горячая голова от шума и вина. С тех пор как в первый раз легкое опьянение вина понесло меня, у меня снова и снова есть ощущение освобождения. Многим цвета, звуки и переживания становятся ярче, наполненнее, для меня они расплываются в незначительном и отступают приятно и смягченно на далекий задний план, который окружает меня и оживающие мысли как центр. Тогда я люблю сидеть один, чтобы избежать беседы, которая все более скачкообразно и более шумно связывает круг в одно духовное тело, в котором все чувствуют одно и то же, и, все же, каждый слышит только самого себя. Поэтому я встаю и сажусь на скамейку перед нашим домиком, в котором мы встречались уже три недели по вечерам, и который окружает нас сегодня в последний раз перед неизвестностью. Он находится близко от военной дороги, по которой и наш полк будет маршировать на запад.

Мы выступаем только завтра после наступления темноты, чтобы прождать еще одни сутки до штурма, скрытно в пещерах и подземных ходах. Уже три ночи бесчисленные тысячи с наступлением сумерек прокатываются мимо нашего домика, который лежит как остров в потоке, молча, без песен, без игры, без слова шутки и смеха. Иногда приказ, деловой и безличный, вмешивается в шумный удар подкованных сапог, в дребезжание винтовок о каски, в треск штыков о шанцевый инструмент. Потом длинные артиллерийские колонны снова гремят мимо, от маленьких полевых орудий до огромных мортир на механической тяге. В конце концов, зрителю после этого темного парада людей, животных и техники остается только лишь впечатление серой, огромной силы и воли, которая толкает эту силу к цели. То, что там ночью течет мимо как поток, чтобы в гигантском размере накопиться перед пограничными валами, это воля к победе, это доведенная до своей самой краткой формулы сила: армия.

Армия: люди, животные и машины, скованные в одно оружие. Машинами мы хотим растоптать противника, ослепить, задушить, пригвоздить к земле, закидать пламенем, раскатать на дне снарядных воронок. Ими мы хотим подавить волю немногих оставшихся в живых таким прибоем ужасных впечатлений, что наши штурмующие войска будут только выдергивать их из их дыр, бездеятель-

ных и с отупевшей улыбкой. Машина – это отлитый в стали интеллект народа. Она в тысячу раз увеличивает силу отдельного человека и только придает нашей борьбе свой страшный отпечаток.

Борьба машин настолько сильна, что человек почти совсем исчезает перед нею. Часто мне, окруженному силовыми полями современной битвы, казалось странным и едва ли правдоподобным присутствовать при всемирно-историческом процессе. Борьба выражалась как огромный, мертвый механизм и распространяла ледяную, безличную волну уничтожения над территорией. Это было как ландшафт кратеров на мертвом небесном теле, безжизненный и брызжущий жаром.

И, все же: за всем этим находится человек. Только он придает машинам направление и смысл. Это он выпускает из них снаряды, взрывчатку и яды. Он поднимается в них как хищная птица над противником. Он сидит в их утробе, когда они, изрыгая огонь, утюжат поле боя. Он – самое опасное, самое кровавое и самое целеустремленное существо, которое должна нести Земля.

Всегда были борьба и войны, но то, что проходит здесь темно и непрерывно, это самая страшная форма, в которой до сих пор всемирный дух оформил жизнь. И как раз потому, что эти массы так серо и однообразно прокатываются вперед, чтобы скопиться впереди за дамбами в водоем полный огромной потенциальной энергии, как раз поэтому они пробуждают впечатление чистой силы, идея которой как электрический ток распространяется к одинокому зрителю. Это впечатление хмельной трезвости, подобное которому обнаруживается только в центрах наших больших городов или в представлениях о силовых полях согласно понятиям современной физики. Здесь уже скрывается цезаристская воля, которая в состоянии справиться с размерами массы. То, что готовится здесь, уже битва в смысле нового времени.

Еще тогда, когда я сидел внутри вместе с товарищами, смех которых звучит беспорядочно через затемненное окно, я был полностью сыном старого времени, и мне казалось, что послезавтра старые и святые символы нужно будут понести навстречу новым целям. Но здесь, кажется, блекнет шелковый блеск знамен, здесь говорит горькая и сухая серьезность, такт марша, который пробуждает представление о больших промышленных районах, армиях машин, рабочих батальонах и холодных, современных людях с волей к власти. Здесь говорит техника на своем железном языке и превосходящий интеллект, который использует технику. И этот язык решительнее и резче, чем любой другой прежде.

Но что это за люди, которые чувствуют себя не соответствующими велениям своего времени? Сегодня мы пишем стихотворения из стали и композиции из железобетона. И мы боремся за власть в битвах, при которых происходящее переплетается с точностью машин. В этом кроется красота, которую мы уже в состоянии смутно осознавать, в этих битвах на суше, на воде и в воздухе, в которых горячая воля молнии умиряет себя и выражается в овладении техническими чудесами силы. И я могу, пожалуй, представить себе, что позже будет возможна позиция, которая противостоит этим проявлениям с одаренной могущественным чувством реальности расой, как например, великолепная орхидея, которая не требует никакого другого права, кроме своего существования.

Все цели преходящи, только движение вечно, и оно непрерывно порождает великолепные и суровые спектакли. Суметь погрузиться в его возвышенную бесцельность как в художественное произведение или как в звездное небо, это позволено только немногим. Но кто на этой войне испытал только отрицание, только собственное страдание, но не подтверждение, не более высокое движение, тот пережил эту войну как раб. У него не было внутреннего переживания, а только внешнее. Здесь это течет мимо, сама жизнь, великое напряжение, воля к борьбе и к власти в формах нашего времени, в нашей собственной форме, в самой упрямой и самой обороноспособной позиции, которую только можно вообразить. Перед этим могущественным и непрерывным потоком к борьбе все произведения становятся ничтожными, все понятия пустыми, чувствуется проявление стихийного, величественного, которое всегда было и всегда будет, даже если уже давно больше не будет ни людей, ни войн.

Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс
«ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА»



Если вы хотите автоматически получать информацию о всех обновлениях на сайте, подпишитесь на рассылку --> [Новости сайта Велесова Слобода](#).

